



Пер. Степан М. Печкин, 1996-7, 2025

Библиотека Трансперсонального Института Человека Печкина
СтепанИздат

Издание Трансперсонального Института Человека Печкина
© 1912 by Macmillan and Co Ltd
Translation © Stepan M. Pechkin, 1997, 2025
(p) Pechkin Production Initiatives, est. 1988
Редакция от Dec 14, 2025

James Stephens. The Crock of Gold.
Foreword specially written for Pan edition by Walter de la Mare, OM, CH.
First published 1912 by Macmillan and Co Ltd
This edition published 1953 by Pan Books Ltd, Cavaye Place, London
sw10 9pg
4th printing 1978
All rights reserved
ISBN 0 330 10361 X
Printed in Great Britain by Richard Clay (The Chaucer Press)
Ltd, Bungay, Suffolk

Всякое коммерческое использование текста или какой-либо части текста без согласования с владельцами авторских прав оригинального издания запрещено соответствующими законодательными актами. Текст перевода публикуется исключительно с ознакомительными, образовательными и эстетическими целями. Издание не преследует никакой иной выгоды, кроме общего блага всех живых существ.

*Перевод посвящается Маленькому, но
Очень Гордому Племени и всем маленьким, но
очень гордым племенам.*

*С сердечной благодарностью Льву
Серебрякову (2:5030/661; lev@spb.runnet.ru;
blacklion), который сделал это возможным; а
также группе Р*ождество, ее друзьям и
руководству клуба «Белый Кролик» в 1997 г.,
которые сделали возможно далеко не только
это.*

*Ещё перевод посвящается с любовью и
благодарностью Лене-Рут Юкельсон.*

Степан М. Печкин, 2025

Цур-Адасса, Земля

Предисловие

Не часто, но время от времени Фортуна все же вознаграждает простого обозревателя, который трудится, как говорится, в поте лица, новой книгой, немедленно воспламеняющей его ум. Так бывало со мной много лет назад, когда я имел честь работать для литературного приложения к "Таймс": "Пропавшая леди", "История старых жен", "Этан Фроум", например. Так было и с этой книгой; и я не думаю, что смогу придумать что-то лучшее, чем повторить то, что я уже сказал о ней в моем приветственном выступлении 14-го ноября 1912 года: "Как она поразила современность!.."

Во всем мире есть только один человек, который мог бы достоверно и подробно описать "Золотой горшок"; и это – сам мистер Джеймс Стивенс, написавший его. Но даже ему пришлось бы попросту написать эту книгу заново. Как половина всех лучших книг на свете, эта – более, чем слегка, безумна и просто лучится жизненностью и красотой. Это гимн Бессмыслице, а настоящая Бессмыслица – это мудрость, вывернутая наизнанку, и потому запредельна лишь для немудрого взгляда. «Иметь голову на плечах, как они это называют, очень легко, но нелегко достичь хоть чуточки веселости, беззаботности, ребячества.» Такое, безусловно, встречается гораздо реже. В отличие от другой половины так называемых «лучших» книг, эта, в сущности – не книга вовсе, но безумная аппликация – нечто вроде лоскутного пледа, завернувшись в который, так приятно греть кости на завалинке времени и пространства и думать обо всем и ни о чем, о высоких богах и о маленьких, поющих богах, о девяти Грациях, о Человеке, о Пане, о Невинности...

Повесть, в которой у Философа есть дети – безусловно ирландская. Мистер Стивенс и не пытается притворяться кем-то другим. Да и с чего бы ему?.. «Время – это тиканье часов. Добро и зло – две горошины в одном стручке. Лицо моей жены всегда одно и то же. Я хочу поиграть с детьми, и в то же время не хочу. Твой разговор со мной, брат, похож на жужжание пчелы в темной келье. Сосны пускают корни, растут и умирают. Все это вздор. Прощай.»

Чей же был горшок на самом деле, где и почему он был зарыт – обо всем этом рассказывается в этой прелестной, фантастической, бесформенной, вдохновенной мешанине неразберихи. «Корова своя собственная,» – говорит усталым детям Тощая Женщина, когда любовь просветила ее мрак, – ибо «живое не может быть чье-то.» Но тогда столь многие из нас в эти дни умственно мертвы, или умирают от старости, тогда как юности нужно лишь слово "сезам", чтобы восстать ото сна. Подобно стивенсовскому "философу", мы почти ничего не делаем, кроме как сидим и размышляем о нашей "мы-ности", забывая, что «помнить стоит только детство». В это состояние, как показал однажды Сперджен в своей проповеди на тему Рая и Ада, быстро съезжая с кафедры по перилам лесенки и с трудом взбираясь обратно, легко попасть, но из него чрезвычайно трудно выбраться. И мистер Стивенс, безусловно, один из тех поэтов, что указывают этот путь. Читателей у него, может быть, будет много, последователей же, как мне кажется – весьма немного. Пока мы, по его словам, не потеряем все, нам попросту невозможно понять, что можно быть счастливым, ничего не имея. «Ох, Господи помоги мне», – бормочет его бездомная старуха с камешками в башмаках, «одна-одинешенька старая с палкой, а солнце светит прямо в глаза, и пить ей хочется...»

Уолтер де ла Мер

Май 1953.

Книга I. Явление Пана

Глава I

В чаще соснового леса, что звался Койлла-Дорака¹, жили-были не так давно два Философа. Они были мудрее всех на свете, кроме разве лишь лосося из озера Глин-Кагни, в которое падают с орехового куста, растущего на берегу, орехи мудрости. Тот лосось, бесспорно, самое мудрое из существ, но два Философа следуют сразу за ним. Их лица выглядели так, словно были из пергамента; под ногтями у них были чернила; и любую задачу, с которой приходили к ним люди – даже женщины – они с легкостью могли решить.

Седая Женщина из Дун-Гортина² и Тошяя Женщина с Инис-Маграта³ задали им три вопроса, ответа к которым не знал никто, но Философы смогли на них ответить. Так началась вражда Философов с двумя этими женщинами, которая была драгоценнее дружбы с ангелами. Седая Женщина и Тошяя Женщина так разозлились от того, что на их вопросы нашлись ответы, что вышли за двух Философов замуж, чтобы щипать их в постели, но кожа у Философов оказалась такой толстой, что те не замечали щипков. Философы же отвечали на ярость женщин такой нежной любовью, что эти злобные создания едва не усохли с досады; и однажды, целуемые мужьями, в порыве отчаяния они произнесли четырнадцать сотен проклятий, что составляли всю их мудрость – а Философы выучили их и стали еще мудрее, чем были до того.

Со временем от этих браков родилось двое детей. Они родились в один день и в один час, и отличались тем только, что один ребенок был мальчик, а другой – девочка. Никто не мог понять, как такое случилось, и впервые в жизни Философам довелось подивиться событию, которого они не смогли объяснить; но, доказав множеством различных методов, что дети были действительно детьми; что чему быть, того не миновать; что спорить с фактами невозможно; и что случившееся однажды может случиться дважды, они классифицировали это происшествие как необычайное, но не противоестественное, и покойно поручили себя Провидению, еще более мудрые, чем были до того.

Философ, у которого родился мальчик, был очень доволен, потому что, говорил он, в мире и так слишком много женщин; Философ же, у которого родилась девочка, тоже был очень доволен, поскольку, как он говорил, от добра добра не ищут. Однако ни Седую Женщину, ни Тошюю Женщину материнство ничуть не смягчило – они сказали, что они на это не подражались; что детей у них заполучили на незаконных основаниях; что они уважаемые замужние женщины; и что в знак протеста и из обиды они больше не будут готовить для Философов еду. Это было приятной новостью для их мужей, которые терпеть не могли женской готовки, но они не подали виду, потому что женщины непременно настояли бы на своем праве готовить еду, когда бы догадались, что их мужьям это не нравится: поэтому Философы каждый день упрашивали жен снова приготовить какое-нибудь из своих любимых блюд, а женщины непременно отказывались.

Жили они все вместе в маленьком домике в самой чаще густого соснового бора. В это

1 Ирл. «Темный Лес». (Здесь и далее перевод и пояснение говорящих ирландских имен и названий — прим. перев.)

2 Ирл. «Замок Полей».

3 Ирл. «Остров Долины Городища».

место никогда не светило солнце, потому что тень была слишком плотной, и ветер тоже никогда не залетал туда, потому что сучья были слишком толстые, и потому это было самое тихое и покойное место в мире, и Философы могли дни напролет слушать мысли друг друга или произносить друг перед другом речи; и то были самые приятные звуки из всех, им известных. Знали же они лишь две разновидности звуков – беседа и шум: первое они очень любили, второе же строго осуждали, и даже если шум производили птица, ветерок или дождь, Философы сердились и требовали немедленно этот шум прекратить. Женщины их разговаривали редко, однако никогда не молчали: они общались друг с другом при помощи своеобразного физического телеграфа, которому выучились у Ши⁴ – они быстро и медленно щелкали суставами пальцев, и могли переговариваться на большом расстоянии, ибо путем долгой практики научились издавать громкие звуки, подобные грому, и тихие звуки, подобные шелесту серой золы в очаге.

Тощая Женщина ненавидела своего ребенка, но обожала ребенка Седой Женщины, а Седая Женщина любила ребенка Тощей Женщины, но терпеть не могла своего собственного. Выход найдется из самого сложного положения; и вскорости женщины обменялись детьми, сразу же превратившись в самых нежных и любящих матерей, каких только можно вообразить; и две семьи стали жить в самой совершенной любви, какую только можно найти.

Дети росли в любви и радости. Сначала мальчик был маленьким и толстеньким, а девочка длинной и тощей, потом девочка стала кругленькой и пухленькой, а мальчик вытянулся и стал угловатым. Это было оттого, что девочка обычно сидела тихо и вела себя хорошо, а мальчик – нет.

Много лет дети жили в глубоком уединении соснового бора, где царил постоянный сумрак, и там привольно играли они в свои детские игры, мелькая между тенистыми деревьями, как маленькие быстрые тени. Временами их матери, Седая Женщина и Тощая Женщина, играли с ними, но это случалось редко; а иногда их отцы, два Философа, выходили и глядели на них через очки, очень круглые и очень стеклянные, с огромными круглыми роговыми оправками. Но были у детей и другие товарищи по играм, с которыми можно было забавляться весь день напролет. В подлеске сновали сотни кроликов; они были полны веселья и очень любили играть с детьми. Были там белки, что с радостью присоединялись к детским играм; а несколько коз, забредая однажды из большого мира, встретили такой прием, что стали приходить туда всякий раз, как только выдавалась возможность. Еще там водились птицы, вороны, дрозды и трясогузки, которые хорошо знали малышей и навещали их так часто, как позволяла им их занятая жизнь.

Недалеко от их дома в лесу была полянка футов десяти в ширину; через этот просвет, как через окно, солнце летом заглядывало на несколько часов вниз. Мальчик первым заметил в лесу странные сверкающие стрелы. Однажды его послали собирать сосновых шишек для очага. Поскольку шишки собирали каждый день, возле дома их было мало, и потому мальчику пришлось отойти от дома дальше, чем обычно.

Поначалу необычайное сияние поразило его. Он никогда прежде не видел ничего подобного, и ровный, не мерцающий свет возбудил в нем равно страх и любопытство. Любопытство же побеждает страх скорее, чем храбрость; в сущности, это оно заводит многих людей в такие опасности, от которых отшатнулась бы простая физическая смелость; ибо голод, любовь и любопытство – величайшие движущие силы жизни.

4 *То же, что “сиды” – эльфы, сверхъестественные существа ирландской мифологии, живущие племенами и общинами в полых холмах.*

Едва мальчик обнаружил, что свет не движется, он подошел к нему, и наконец, побуждаемый любопытством, шагнул прямо в него и обнаружил, что это вообще не что-то. Едва попав на свет, мальчик понял, что свет – теплый, и это так напугало его, что он снова выпрыгнул из него и спрятался за дерево. Потом он выпрыгнул в него на мгновение и тут же выпрыгнул обратно, и играл в эту игру с солнечным светом почти полчаса. Наконец, он совсем осмелел и встал в свет, и обнаружил, что тот вовсе не жжется, но оставаться в нем ему не захотелось – он испугался, что может спечься.

Когда мальчик вернулся с шишками домой, он ничего не сказал ни Седой Женщине из Дун-Гортина, ни Тощей Женщине с Инис-Маграта, ни двум Философам, но перед сном рассказал обо всем девочке, и с тех пор они каждый день отправлялись играть с солнечным светом; а кролики и белки приходили к ним туда и присоединялись к их играм с интересом вдвое большим, чем прежде.

Глава II

Иногда к одинокому домику в сосновом бору приходили люди за советами по вопросам, слишком сложным даже для таких светил, как приходской священник и кабатчик. Таких гостей всегда принимали хорошо, и их затруднения немедленно разрешались, ибо Философы любили быть мудрыми и не стеснялись выказывать свой ум; равным образом в отличие от многих мудрецов они не боялись обеднеть или потерять уважение, делясь своим знанием. Вот какие максимы были любимыми у них:

- *Прежде, чем сможешь получать, научись давать.*
- *Знание за неделю становится хламом; потому избавляйся от него.*
- *Прежде, чем наполнить сундук, его надо опустошить.*
- *Опустошение и наполнение – это шаг вперед.*
- *Мечу, лопате и мысли нельзя позволять ржаветь.*

Седая Женщина и Тощая Женщина, однако, имели мнение, весьма отличное от этого, и их максимы также были другими:

- *Тайна – оружие и друг.*
- *Человек – тайна Бога, Власть – тайна человека, Пол – тайна женщины.*
- *Имея много, сможешь понять больше.*
- *В сундуке всегда есть еще место.*
- *Искусство укладки вещей – последняя лекция мудрости.*
- *Скальп твоего врага – это шаг вперед.*

При таких противоположных взглядах, казалось, вполне могло бы стать так, что посетителей, искавших совета у Философов, перехватывали бы их жены; но женщины были верны своим убеждениям и отказывались делиться мудростью с кем бы то ни было за исключением особ самого высшего ранга — полицейских, гомбинов⁵ и чиновников округа или графства; но и с них они запрашивали за свои знания высокую цену и процент с любой прибыли, извлечен-

5 Ирл. *торгаш, ростовщик, деляга.*

ной, следуя их советам. Надо заметить, что последователей у них было немного сравнительно с теми, кто искал помощи у их мужей; ибо недели не проходило без того, чтобы кто-нибудь пришел в сосновый бор в затруднении, нахмутив брови.

Такие люди крайне занимали детей. После их визитов дети обычно уединялись и разговаривали о них, стараясь вспомнить, как они выглядели, как разговаривали, как ходили и как нюхали табак. Через некоторое время дети стали интересоваться вопросами, с которыми эти гости приходили к их родителям, и ответами и наставлениями, с которыми их родители отпускали этих гостей. Благодаря долгой выучке дети приобрели способность сидеть совершенно тихо, так что, когда доходило до важного, про детей начисто забывали; и так мысли, которые иначе миновали бы их юность, делались предметом их повседневных разговоров.

Когда детям было десять лет, один из Философов умер. Он собрал всех домашних и объявил, что пришло время прощаться, и что он вознамерился умереть так скоро, как только возможно. К сожалению, продолжал он, здоровье его в последнее время окрепло даже более, чем обычно, но это, безусловно, не препятствие его замыслу, ибо смерть состоит не в нездоровье, а во множестве других факторов и деталей, которыми он не хочет их отягощать.

Его жена, Седая Женщина из Дун-Гортина, встретила его слова одобрением и сказала, что давно уже пора ему хоть сделать что-нибудь; что жизнь, которую он вел, была пустой и бесплодной; что он украл у нее четырнадцать сотен проклятий, которые были ему без надобности, и наградил ее ребенком, который был вовсе не надобен ей; и что, со всем этим, чем скорее он умрет и перестанет болтать, тем скорее все заинтересованные стороны станут счастливы.

Другой Философ мягко ответил, раскурив свою трубку:

— Брат, величайшая из всех добродетелей есть любопытство, и предел всех желаний есть мудрость; поэтому расскажи нам, каким путем ты пришел к этому достойному похвалы решению?

На это Философ ответил:

— Я достиг всей мудрости, которую способен иметь. За последнюю неделю в моей голове не родилось ни одной новой истины. Все, что я читаю, я уже знал прежде; все, что я думаю — лишь повторение старых надоевших идей. Перед моими глазами больше нет горизонтов. Пространство сжалось до ничтожных размеров моего мизинца. Время — это тикание часов. Добро и зло — две горошины в одном стручке. Лицо моей жены всегда одно и то же. Я хочу поиграть с детьми, и в то же время не хочу. Твой разговор со мной, брат, похож на жужжание пчелы в темной келье. Сосны пускают корни, растут и умирают. Все это вздор. Прощай.

Его товарищ возразил:

— Брат, все это весомые рассуждения, и я прекрасно понимаю, что пришла твоя пора. Я мог бы возразить — не затем, чтобы поспорить с твоими взглядами, но лишь для того, чтобы продолжить интересную беседу — что на свете еще есть знания, которых ты не вобрал в себя: ты еще не пробовал, каково это — играть на барабане, или нравиться своей жене, или вставать первым поутру и готовить завтрак. Научился ли ты курить такой крепкий табак, как я? и умеешь ли ты танцевать в лунном свете с девушкой из Ши? Понимать теорию, стоящую за всеми вещами, мало. Теория — лишь приготовление к практике. Мне думается, брат, что мудрость может не быть венцом всему. Добро и доброта, возможно, находятся дальше мудрости. Разве не может быть так, что вершина всего — веселье, музыка и танец радости? Мудрость — старейшая из вещей. Мудрость вся — ум, но не сердце. Смотри, брат — тяжесть твоего ума сокру-

шает тебя. Ты умираешь от старости, но ты еще ребенок.

– Брат, – ответил первый Философ, – твой голос – жужжание пчелы в темной келье. Если в свои последние дни я паду так низко, что стану играть на барабанах, бегать за ведьмами при свете луны и готовить тебе завтрак в сумраке утра, то, значит, мне и впрямь пора умирать. Прощай, брат.

И, сказав так, Философ поднялся и сдвинул всю мебель с середины комнаты в углы, чтобы посередине появилось свободное место. Затем он разулся, снял плащ и, встав на носки, начал вращаться с необычайной скоростью. В несколько мгновений его движения стали стремительными и четкими, и от него послышался звук, похожий на жужжание веретена; этот звук все усиливался и усиливался, став, наконец, ровным. Вся комната наполнилась низким гудением. Через четверть часа гудение стало заметно ослабевать. Спустя еще три минуты оно почти стихло. Через две минуты Философ снова стал различим, затем он покачнувшись несколько раз в разные стороны и рухнул на пол. Он был совершенно мертв, и на его лице застыло выражение безмятежной красоты.

– Господь с тобой, брат, – сказал оставшийся Философ, раскурил свою трубку, свел глаза на кончике носа и погрузился в могучее размышление об афоризме, добро ли есть всё, или же всё есть добро. Еще через мгновение он полностью забыл бы о комнате, о ее обитателях и о мертвом теле, но Седая Женщина из Дун-Гортина нарушила его медитацию, потребовав ответа на вопрос, что же ей теперь делать. Философ с усилием отвел глаза от кончика носа, а ум – от максимы.

– Хаос, – сказал он, – есть первое условие. Порядок есть первый закон. Постоянство есть первое размышление. Спокойствие есть первое счастье. Наш брат мертв – схорони его.

Сказав это, он вернул взгляд к кончику носа, а ум – к своей максиме, и погрузился в медитацию, в которой ничто восседало на несущественности, а дух Хитроумия тарашил глаза на эту загадку.

Седая Женщина из Дун-Гортина взяла понюшку табаку из своей табакерки и возвела плач по своему мужу:

– Ты был моим мужем, а теперь ты мертв.

Это мудрость убила тебя.

Если бы ты слушался моей мудрости, а не своей, ты и поныне досаждал бы мне, и я поныне была бы счастлива.

Женщины сильнее мужчин – они не умирают от мудрости.

Они лучше мужчин, потому что не ищут мудрости.

Они мудрее мужчин, потому что знают меньше, а понимают больше.

Мудрецы – воры, они воруют мудрость у ближних.

У меня было четырнадцать сотен проклятий – мой невеликий запас – и ты хитростью выкрал его и опустошил меня.

Ты украл мою мудрость – и она сломала тебе шею.

Я потеряла свое знание – но я жива и плачу над твоим телом, а для тебя оно оказалось слишком тяжелым, невеликое мое знание.

Никогда больше ты не пойдешь в лес поутру и не будешь гулять в полях звездной ночью. Ты не сядешь к очагу в холодную ночь, не ляжешь в постель и не встанешь с постели, и вообще ничего не сделаешь с этого дня.

Кто теперь соберет шишек, когда угаснет очаг? Кто позовет меня по имени в пустом доме? Кто рассердится, что котел не кипит?

Воистину, я в отчаянии. Нет у меня больше ни знания, ни мужа, ни чего еще сказать.

– Если бы у меня было что-нибудь лучшее, оно было бы твоим, – сказала она учтиво Тощей Женщине с Инис-Маграта.

– Спасибо тебе, – сказала Тощая Женщина, – это было очень хорошо. Не начать ли теперь мне? Мой муж думает, и мы ему не помешаем.

– Не беспокойся, – ответила Седая Женщина. – Счастья мне все равно не видать, и, кроме того, я уважаемая женщина.

– Это более чем так — воистину.

– Всегда делала я то, что нужно, и тогда, когда нужно.

– Я буду последним человеком в мире, кто стал бы с этим спорить, – с теплотой ответила Тощая Женщина.

– Ну, вот и славно, – сказала Седая Женщина, и начала разуваться. Она встала посреди комнаты и поднялась на носки.

– Ты – достойная, почтенная женщина, – сказала Тощая Женщина с Инис-Маграта, и тогда Седая Женщина стала вращаться быстро, и все быстрее, пока не превратилась в сплошное вращение; через три четверти часа – потому что она была очень крепкой – она замедлилась, стала видимой, покачнулась и упала рядом со своим покойным мужем, и на лице ее была красота, едва не превосходящая красоту его лица.

Тощая Женщина с Инис-Маграта шлепнула детей и отправила их спать, затем схоронила два тела под очагом, а затем — не без труда — оторвала мужа от его медитаций. Когда он начал воспринимать обыденную действительность, она пересказала ему все, что случилось, и сказала, что виноват в этой печальной утрате лишь он один. Философ ответил:

– Яд вырабатывает противоядие. Конец сокрыт в начале. Все тела растут на скелете. Жизнь – это накладка смерти. Я не лягу спать.

Глава III

На следующий день после этого печального события Михаул МакМурраху⁶, фермер с маленького хутора неподалеку, пришел в сосновый бор, нахмутив брови. У двери маленького домика он сказал:

– Господь со всеми, кто здесь, – и вошел внутрь.

Философ вынул трубку изо рта:

6 Ирл. «Майкл МакМерфи».

– Господь с тобой, – сказал он и вернул трубку на место.

Михаул МакМурраxu обвел пальцем комнату:

– А где другой? – спросил он.

– Э-э... – сказал Философ.

– Он, должно быть, вышел?

– Должно быть, – сказал Философ без выражения.

– Ну, да не важно, – сказал гость, – потому что и у вас самого мудрости столько, что хоть лавку открывай. Пришел я сегодня затем, что хотел спросить вашего почтенного совета насчет стиральной доски моей жены. Она у нее всего пару лет, и последний раз она пользовалась ею, когда стирала мою воскресную рубашку и свою черную юбку с такими красными штучками на ней – знаете?

– Никоим образом, – ответил Философ.

– Ну, и ладно; суть в том, что доска пропала, и жена говорит, что или ее взяли эльфы, или Бесси Хэнниган – знаете Бесси Хэнниган? У нее усы, как у козы, и хромая нога...

– Никоим образом, – ответил Философ.

– Все равно, – продолжал Михаул МакМурраxu, – она доску не брала, потому что моя жена поймала ее вчера и два часа заговаривала ей зубы, а я тем временем обшарил весь ее дом – и доски там не было.

– И не могло быть, – сказал Философ.

– Может быть, тогда ваша честь расскажет, где она?

– Может быть, – сказал Философ. – Ты слушаешь?

– Слушаю, – сказал Михаул МакМурраxu.

Философ придвинул свой стул поближе к гостю, так что они соприкоснулись коленками. Он оперся ладонями на колени Михаула МакМурраxu:

– Стирка и мытье – обычай экстраординарный, – сказал он. – Нас обмывают по приходе в этот мир и по уходе из него, и от первого мытья нам нет никакого удовольствия, а от последнего – никакой пользы.

– Ваша правда, сэр, – сказал Михаул МакМурраxu.

– Многие люди считают, что всеми обмываниями помимо этих двух мы обязаны одной лишь привычке. Тогда как привычка есть инерция действия – это самая отвратительная вещь, и от нее очень трудно избавиться. Поговорка скажется там, где смолчит писание, и глупости наших праотцев для нас важнее, чем процветание нашего потомства.

– Против этого я ни слова не скажу, сэр, – сказал Михаул МакМурраxu.

– Кошки – философический и вдумчивый народ, и они не признают полезности ни в воде, ни в мыле, однако же считаются чистоплотными. Из каждого правила есть исключения, и я знавал некогда кота, который обожал воду и купался каждый день: он был невероятной сволочью и в конце концов подох от вертячки. Дети почти так же мудры, как кошки. Истинно, что они используют воду многими способами – например, чтобы погубить скатерть или фар-

тук; а также я наблюдал, как они смазывают лестницу мылом, выказывая при этом глубокое знание свойств этого вещества.

– И вправду, почему бы и нет? – сказал Михаул МакМурраxu. – У вас не найдется спички, сэр?

– Никоим образом, – сказал Философ. – Опять же, воробьи – весьма бойкий и рассудительный народ. Они пользуются водой для утоления жажды, но когда они грязны, они принимают пылевые ванны и тотчас очищаются. Безусловно, птиц можно часто увидеть в воде, но они ловят там рыбу, а не моются. Рыб я склонен считать грязным, скользким и неумным народом – оттого, что они столько времени проводят в воде; и неоднократно было замечено, что будучи извлеченными из этой стихии, они сейчас же задыхаются от невероятной радости, избавившись от столь длительного мытья.

– Это я видел сам, – сказал Михаул. – А вы, сэр, слышали о рыбе, которую Подин МакЛохлин поймал в каску полицейского?

– Никоим образом, – сказал Философ. – Первый умывшийся, вероятно, был человеком, искавшим дешевой популярности. Любой глупец может вымыться, но каждый мудрец знает, что это пустая трата сил, ибо природа очень скоро вернет его к естественной и здоровой грязи. Поэтому следует искать не способа очиститься, а способа стяжать более редкую и отличную грязь, и тогда, возможно, собранные слои материи смогут путем обычного геологического спрессовывания соединиться с человеческим покровом и сделать одежду ненужной...

– Я про стиральную доску, – сказал Михаул. – Я как раз собирался сказать...

– Не имеет значения, – сказал Философ. – В некоторых случаях я признаю необходимость воды. В качестве поверхности, по которой плавают корабли, она практически незаменима – как ты понимаешь, не то, чтобы я вполне одобрял корабли: они веками плодят вмешательство в дела других народов и разносят мелких паразитов по разным широтам. Как стихия, которой гасится огонь, заваривается чай, или по которой можно кататься зимой, она полезна, но в жестяном корыте она приобретает характер отталкивающий и недостойный. Теперь что касается твоей стиральной доски.

– Удачи вам, ваша честь, – сказал Михаул.

– Твоя жена говорит, что она либо у эльфов, либо у женщины с козьей ногой.

– Усами, – поправил Михаул.

– Хромыми? – поинтересовался Философ с усмешкой.

– Будь по-вашему, сэр; я уже и сам не уверен, при чем там она.

– Ты говоришь, что эта нездоровая женщина не брала стиральную доску твоей жены. Следовательно, остается предположить, что ее забрали эльфы.

– Похоже на то, – сказал Михаул.

– По соседству с нами живут шесть кланов эльфов; но метод исключения, который приспособил мир к земному шару, муравья к его окружению и человека к господству над позвоночными, не подведет и на этот раз.

– А вы видели, как в этом году расплодились осы? – спросил Михаул. – Честное слово, просто сесть невозможно, как тут же все штаны...

– Никоим образом, – сказал Философ. – Выставил ли ты в прошлую среду на крыльцо блюдо с молоком?

– Выставил.

– Снимаешь ли ты шляпу, когда встречаешь пыльный смерчик?

– Не забываю, – ответил Михаул.

– Не срубил ли ты в последнее время тернового куста?

– Скорее я выколол бы себе глаз, – ответил Михаул, – и ходил бы одноглазый, как осел Лоркана О'Нуалайна: честное слово! Вы не видели его осла, сэр? Он...

– Никоим образом, – сказал Философ. – Не убивал ли ты малиновки?

– Никогда, – ответил Михаул. – Ёлки-палки! – спохватился вдруг он. – Мой старый шелудивый кот вчера поймал на крыше птичку!

– Ага! – воскликнул Философ, придвигаясь, если это было возможно, еще ближе к своему клиенту, – вот оно! Твою стиральную доску взяли лепреканы Горта-на-Клока-Мора⁷. Иди скорее на Горт. На юго-восточной кромке этого поля стоит дерево, а под ним – нора. Поищи в той норе.

– Так я и сделаю, – сказал Михаул. – А вы не...

– Никоим образом, – сказал Философ.

И Михаул МакМурраxu пошел и сделал так, как ему было сказано, и под деревом на Горт-на-Клока-Мора он нашел золотой горшок.

– Да в нем – силища стиральных досок! – сказал он.

Через это-то происшествие слава Философа возвеличилась более, чем прежде, а еще по этой причине произошли многие другие события, о которых вы узнаете в свое время.

Глава IV

Вот как вышло, что лепреканы Горта-на-Клока-Мора не сказали Философу спасибо за то, что он послал Михаула МакМурраxu на их поле. Похитив собственность Михаула, они были вполне в своем праве, потому что их птичка совершенно очевидно пала жертвой принадлежащего Михаулу кота. Теперь же не только возмездие их было аннулировано, но и горшок золота, которое их община собирала на протяжении многих тысяч лет, был украден. Лепрекан без золотого горшка – как роза без аромата, как птица без крыльев или как внутренность без внешности. Лепреканы решили, что Философ поступил с ними дурно, что действия его – злодейские и недобрососедские, и что пока они не рассчитаются с ним сполна за утрату своего сокровища и вместе с ним достоинства, между их народом и маленьким домиком в сосновом бору не может быть других отношений, кроме войны.

Вместе с тем, ситуация для них оказалась невероятно сложной. Действовать против своего нового врага непосредственно и сами они не могли, потому что Тощая Женщина с Инис-Маграта наверняка вступилась бы за своего мужа; а она принадлежала к клану Ши Крогана-Конгайле⁸, чьи родичи обитали во всех эльфийских крепостях Ирландии и во множестве – в замках и дунах округи. Лепреканы могли бы, конечно, созвать внеочередной сбор шеогов, ле-

⁷ Я думаю, это ирл. “Поле большого камня”.

преканов и клуриканов и вчинить иск об убытках Ши Крогана-Конгайле, но те навряд ли признали бы себя виновными в этом нарушении порядка, ведь проступок совершил Философ, а не Тощая Женщина с Инис-Маграта; ни один из членов клана не нес ответственности за него. Несмотря на это, лепреканы не намерены были так все это оставить, а недостижимость правосудия лишь усугубляла их ярость.

Один из них отправился на переговоры с Тощей Женщиной с Инис-Маграта, а остальные собрались ночью у жилища Михаула МакМурраха, дабы попытаться вернуть себе сокровище – что оказалось затеей безнадежной. Они обнаружили, что Михаул, прекрасно знакомый с обычаями Земляного Народца, зарыл золотой горшок под терновым кустом, таким образом поместив его под защиту всех эльфов мира – в том числе и самих лепреканов – и пока руки чело- века не выкопают горшок оттуда, они обязаны чтить то место, где он спрятан, и даже обеспе- чить его безопасность ценой своей собственной крови.

Лепреканы поразили Михаула необычайным приступом ревматизма, а его жену – таким же злостным ишиасом, но стоны и оханья Михаула и его жены доставили им мало удоволь- ствия.

Лепрекан, которому поручили посетить Тощую Женщину с Инис-Маграта, явился в хи- жину в сосновом бору и заявил об их жалобе. Человечек плакал, рассказывая свою историю, и двое детей заплакали вместе с ним от жалости к нему. Тощая Женщина сказала, что ее искрен- не огорчает вся эта неприятная история, и что ее сочувствие – на стороне Горта-на-Клока-Мо- ра; но что она хотела бы отмежеваться от любой ответственности, потому что виновен ее муж, а она не может влиять на его мыслительную деятельность, которая, как закончила она, являет- ся одним из семи чудес света.

Поскольку муж ее как раз прогуливался в одной из отдаленных частей соснового бора, больше в тот раз уже ничего нельзя было сделать, и поэтому лепрекан отправился обратно к своим товарищам без добрых вестей, но пообещал вернуться рано утром на следующий день.

Когда поздно вечером того дня Философ вернулся домой, Тощая Женщина ждала его.

– Женщина, – сказал Философ, – ты уже должна быть в постели.

– Должна? – переспросила Тощая Женщина. – Хочу, чтобы ты знал, что я ложусь, когда мне нравится, и встаю, когда мне нравится, не спрашивая разрешения ни у тебя, ни у кого дру- гого.

– Это не так, – сказал Философ. – Ты засыпаешь, нравится тебе это или нет, и когда тебе проснуться, у тебя тоже никто не спрашивает. Как и многие другие обычаи, такие, как пение, танцы, музыка и театральные представления, сон люди почитают как часть религиозного обря- да. Нигде так легко не засыпаешь, как в церкви.

– Ты знаешь, что сегодня приходил лепрекан? – сказала Тощая Женщина.

– Никоим образом; – ответил Философ, – и благодаря бесчисленным столетиям, пролетев- шим с тех пор, как первый спящий – вероятно, с огромным трудом – погрузился в свой свя- щенный транс, сегодня мы умеем засыпать во время религиозной церемонии с легкостью, ко- торая стала бы для этого доисторического служителя культа и его последователей источником богатства и славы.

– Ты будешь слушать то, что я тебе говорю про лепрекана? – спросила Тощая Женщина.

– Никоим образом, – ответил Философ. – Делались предположения о том, что мы отправляемся спать по вечерам потому, что становится слишком темно, чтобы заниматься чем-либо другим; однако совы, которые являются народом почтенным и мудрым, не спят ночью. Летучие мыши – также народ с весьма ясным умом; они спят среди бела дня, и делают это совершенно очаровательным образом. Они цепляются за ветку дерева лапами и висят вниз головой – позиция, которую я считаю исключительно удачной, поскольку приток крови к голове, происходящий от этого перевернутого положения, должен порождать сонное состояние и определенное ослабление ума, которому приходится либо заснуть, либо лопнуть.

– Да наговоришься ли ты когда-нибудь? – воскликнула Тощая Женщина в сердцах.

– Никоим образом, – отвечал Философ. – В некотором смысле сон полезен. Это отличный метод слушать оперу или смотреть синематограф. Что касается занятия для тихого часа днем, то я не знаю ничего, что могло бы сравниться со сном. Как достижение, сон весьма благодатен, но как манера проводить ночь – невыносимо смешон. Если ты собиралась что-то сказать, любовь моя, то говори сейчас, но помни, что всегда следует думать прежде, чем сказать что-либо. Тишина есть начало добродетели. Молчание – прекрасно. Звезды не производят шума. Дети должны быть в постели. Это серьезные истины, с которыми бесполезно спорить; поэтому их подобает чтить в молчании.

– Твоя каша на полке, – сказала Тощая Женщина. – Положи себе. Я и пальцем не пошевелю, даже если ты будешь умирать с голоду. Надеюсь, что в ней осталось мясо. Лепрекан с Горта-на-Клока-Мора был здесь сегодня. Тебе достанется от них за кражу их горшка с золотом. Ах ты, ворюга! Длинноухий кривоногий жирноглаз!

И Тощая Женщина прыгнула в постель. Из-под одеяла она острым злобным взглядом взглянула на своего мужа. Она пыталась устроить ему ревматизм, зубную боль и вывих челюсти одновременно. Если бы она удовольствовалась какой-либо одной из этих казней и смогла бы сосредоточиться на ней, ей удалось бы поразить своего мужа тем, чем ей хотелось, но на это она оказалась не способна.

– Завершение есть смерть. Совершенство есть завершение. Ничто есть совершенство. В ней осталось мясо, – сказал Философ.

Глава V

На следующий день, идя через сосновый бор, лепрекан встретил неподалеку от домика двух детей. Он поднял раскрытую ладонь правой руки – таково приветствие у эльфов и у ирландцев – и прошел бы мимо, но тут его остановила одна мысль. Сев перед детьми, он долго смотрел на них, а они – на него. Наконец, он спросил мальчика:

– Как твое имя, вик виг о?

– Шеймас Бег⁹, сэр, – ответил мальчик.

– Это маленькое имя, – сказал лепрекан.

– Так меня зовет мама, сэр, – сказал мальчик.

– А как зовет тебя отец? – был следующий вопрос.

– Шеймас Эоган Маэлдуйн О'Карбайл Мак ан Дройд.

9 Ирл. «Шеймас маленький».

– Это большое имя, – сказал лепрекан и повернулся к девочке. – А как твоё имя, кайлинь виг о?

– Бригид Бег, сэр.

– А как зовет тебя твой отец?

– Он никак меня не зовет, сэр.

– Значит, Шеймасин и Бридин. Вы отличные дети, и вы мне очень понравились. Будьте здоровы до нашего следующего свидания.

И лепрекан вернулся туда, откуда пришел. На ходу он подпрыгивал и щелкал пальцами, а иногда чесал ногу об ногу.

– Славный лепрекан, – сказал Шеймас.

– Мне тоже понравился, – сказала Бригид.

– Слушай, – сказал Шеймас, – давай, я буду лепрекан, а ты будешь двумя детьми, и я буду спрашивать у тебя, как наши имена.

Так они и сделали.

На следующий день лепрекан пришел снова. Он сел перед детьми и, как раньше, некоторое время молчал.

– Вы не будете спрашивать, как наши имена, сэр? – спросил Шеймас.

Его сестренка застенчиво оправила платице:

– Меня зовут Бригид Бег, сэр, – сказала она.

– А вы играли когда-нибудь в камушки? – спросил лепрекан.

– Нет, сэр, – ответил Шеймас.

– Я научу вас играть в камушки, – сказал лепрекан, нашел несколько шишек и научил их этой игре.

– А играли ли вы когда-нибудь в лапту?

– Нет, сэр, – ответил Шеймас.

– А доводилось ли вам играть в "выкую гвоздь ро-ри-роу-рэдди-о, выкую гвоздь ро-ри-роу-рэй"?

– Нет, сэр, – ответил Шеймас.

– Это отличная игра, – сказал лепрекан, – ничуть не хуже, чем "шапку на затылок", или "двадцать четыре ярда на козлином хвосте", или выбивалы, или "море волнуется", или чехарда. Я научу вас всем этим играм, – сказал лепрекан, – и научу вас играть в ножички, и в шарик, и в "казаки и разбойники". Лучше всего начать с чехарды, поэтому сейчас я вас научу. Ты, Бридин, нагнись вот так, а ты, Шеймас, нагнись так же и встань на вот таком расстоянии от нее. Теперь я перепрыгиваю через Бридин, потом пробегаю и прыгаю через Шеймасина, вот так, а потом отбегаю вперед и нагибаюсь. Теперь, Бридин, ты прыгай через своего братца, потом через меня, а потом отбегай чуть-чуть и нагибайся. Теперь, Шеймасин, твоя очередь; ты прыгай через меня, а потом через свою сестричку, а потом отбегай немного и нагибайся, и я

буду прыгать.

– Это хорошая игра, сэр, – сказал Шеймас.

– Это точно, вик киг – пригни голову! – ответил лепрекан. – Отличный прыжок; лучше тебе и не прыгнуть, Шеймасин!

– Я уже прыгаю лучше, чем Бригид, – крикнул Шеймас, – и буду прыгать так же хорошо, как вы, когда немного потренируюсь – пригните голову, сэр!

Почти не замечая, они усаkali за опушку леса, и прыгали теперь на диком поле, посреди которого лежали большие серые камни. Это было самое крайнее поле, а за ним вдаль к горизонту уходил вверх дикий поросший вереском склон горы. Вокруг поля шла неровная ежевичная изгородь, и там и сям пучками росли неведомые длинные, крепкие, потрепанные ветром растения. В углу этого поля стояло низкое широкое дерево, и, играя, они подбирались все ближе и ближе к нему. Лепрекан встал возле самого дерева. Шеймас разбежался, прыгнул и попал в нору у подножия дерева. Бригид разбежалась, прыгнула и попала в ту же нору.

– Мама! – сказала Бригид и пропала в норе.

Лепрекан щелкнул пальцами, почесал ногу об ногу и, тоже нырнув в нору, исчез из виду.

Когда время детям вернуться домой пришло и прошло, Тощая Женщина с Инис-Маграта несколько встревожилась. Раньше дети никогда не опаздывали к обеду. Одного из них она терпеть не могла – это был ее собственный ребенок – но она забыла, которого из них, и, поскольку одного из них она любила, ей пришлось любить обоих, чтобы не ошибиться и не наказывать того ребенка, к которому втайне лежало ее сердце. Поэтому она одинаково заботилась об обоих.

Прошло время обеда и пришло время ужина – но не дети. Раз за разом Тощая Женщина выходила в темные сосны и звала их, пока не охрипла так, что сама почти не слышала своего крика. Вечер сменился ночью, и, дожидаясь возвращения Философа, женщина вновь задумалась обо всем. Муж ее не возвращался, дети не возвращались, лепрекан не пришел, как обещал...

Тут ее осенило. Лепрекан похитил ее детей!

Она возвестила лепреканам такую месть, от которой содрогнулись бы люди. В самый разгар ее упоения из леса вернулся Философ и закрыл дверь.

Тощая Женщина набросилась на него:

– Муж! – сказала она. – Лепреканы с Горта-на-Клока-Мора похитили наших детей!

Философ посмотрел на нее.

– Похищение детей, – сказал он, – многие столетия было излюбленным занятием эльфов, цыган и разбойников Востока. Обычно на жертву нападают, чтобы потребовать за него выкуп. Если выкуп не платится, пленнику могут отрезать ухо или палец и послать тем, кого это интересует, с заявлением, что через неделю за этим последует рука или нога, если только не будут выполнены соответствующие распоряжения.

– Ты понимаешь, что похитили наших собственных детей? – спросила Тощая Женщина в сердцах.

– Никоим образом, – ответил Философ. – Этому порядку, однако, редко следуют эльфы:

они обычно крадут не ради выкупа, а из любви к краже или по другим неясным, но, вероятно, важным причинам; и похищенного они держат в своих замках или дунах, пока с течением времени тот не забудет о своем происхождении и не станет полноправным гражданином государства эльфов. Но далеко не одни лишь люди и эльфы похищают детей...

– Чудовище, – прошипела Тощая Женщина, – будешь ты меня слушать?

– Никоим образом, – ответил Философ. – Многие хищные насекомые также практикуют этот обычай. К примеру, муравьи – почтенный народ, живущий прекрасно обустроенными сообществами. Они развили хитроумную и весьма сложно устроенную цивилизацию и часто предпринимают дальние колонизаторские и другого рода экспедиции, возвращаясь из них с богатой добычей тли и других насекомых, которые становятся слугами и домашним скотом республики. Поскольку муравьи не убивают и не едят своих пленников, эту практику можно также назвать похищением. То же самое можно сказать о пчелах, крепком и трудолюбивом народе, живущем в шестиугольных кельях, почти не зная превратностей судьбы. Было замечено, что иногда при отсутствии своей собственной матки пчелы похищают ее у более слабых соседей и используют для своих нужд без стыда, без милосердия и без угрызений совести.

– Ты что, вообще ничего не соображаешь? – воскликнула Тощая Женщина.

– Никоим образом, – отвечал Философ. – Субтропические обезьяны, как говорят, похищают детей, и сообщают, что они обращаются с ними весьма бережно, делятся с ними кокосовыми орехами, бататом, плантанами и другими экваториальными плодами с большой щедростью, а также переносят своих нежных пленников с дерева на дерево – часто на большом расстоянии друг от друга и от земли – с величайшей осторожностью и предупредительностью.

– Я ложусь спать, – сказала Тощая Женщина, – твоя каша на полке.

– В ней осталось мясо, дорогая? – спросил Философ.

– Надеюсь, что да, – ответила Тощая Женщина и прыгнула в постель.

В ту ночь Философа поразил самый экстраординарный приступ ревматизма из всех, какие он только знал, и ему ничуть не полегчало до самого утра, когда серый рассвет погрузил его хозяйку в тяжелую дрему.

Глава VI

Тощая Женщина встала в то утро очень поздно, а когда она проснулась, нетерпение ее было столь велико, что она едва смогла позавтракать. Сразу же после того она надела свою шляпку и шаль и двинулась через сосновый бор по направлению к Гортю-на-Клока-Мора. В краткий срок добралась она до каменистого поля, подошла к дереву в юго-восточном его углу, подняла камешек и громко постучала по стволу дерева. Стучала она по-особенному, два раза, потом три раза, а потом один. Из норы раздался голос:

– Кто там, извините?

– Бан на Дройд¹⁰ с Инис-Маграта, и вы это прекрасно знаете.

– Иду, иду, благородная леди! – сказал голос, и через мгновение лепрекан выпрыгнул из норы.

– Где Шеймас и Бригид Бег? – строго спросила Тощая Женщина.

¹⁰ Ирл. «жена мудреца».

– Откуда же мне знать, где они? – ответил лепрекан. – А разве их нет дома?

– Если бы они были дома, я не была бы здесь, – был ответ Тощей Женщины. – Я считаю, что они у тебя.

– Обыщите меня, – предложил лепрекан, распахивая жилет.

– Они там внизу, в твоём домишке, – сказала Тощая Женщина сердито, – и чем скорее вы их выпустите, тем лучше будет для тебя и для пяти твоих братцев.

– Благородная госпожа, – ответил лепрекан, – вы можете сами спуститься в наш домишко и посмотреть. Большого мне для вас не сделать.

– Я туда не влезу, – сказала она. – Я слишком большая.

– Вы же умеете сделаться маленькой, – ответил лепрекан.

– Но у меня может не выйти сделаться снова большой, – сказала Тощая Женщина, – а тогда заправлять начнешь ты с твоими немытыми братцами. Если вы не отпустите детей, – продолжала она, – я подниму на вас Ши Крогана-Конгайле. Вы знаете, что случилось с клуриканами Ойлеана-на-Глас, когда они украли дитя Королевы – так вам будет еще хуже. Если до восхода луны дети не будут в моем доме, я пойду по своим. Так и передай своим пятерым гнусным братцам. Будь здоров, – добавила она и зашагала прочь.

– И ты будь здорова, благородная госпожа, – сказал лепрекан и стоял на одной ноге, пока Тощая Женщина не скрылась из виду, а после скользнул обратно в нору.

Возвращаясь домой через сосновый бор, Тощая Женщина увидела Михаула МакМурра-ху, следовавшего в том же направлении, что и она, и брови его были сдвинуты в затруднении.

– Господь с тобой, Михаул МакМурра-ху, – сказала она.

– Господь и Святая Мария с вами, мэм, – ответил тот. – У меня сегодня тяжелый день.

– Почему бы и нет? – сказала Тощая Женщина.

– Я шел переговорить с вашим мужем об одной важной вещи.

– Если тебе нужно поговорить, то ты пришел по адресу, Михаул.

– Да, он большой человек, – сказал Михаул.

Через несколько минут Тощая Женщина заговорила снова.

– Я уже чувствую вонь от его трубки. Иди-ка ты теперь к нему, а я побуду на улице, а не то от ваших голосов у меня разболится голова.

– Что угодно вам, мэм, то угодно мне, – сказал ее спутник и вошел в домик.

Михаул МакМурра-ху имел вескую причину для затруднений. Он был отцом одной лишь дочери, и это была прекраснейшая девушка во всем мире. Грустно было только то, что совершенно никто не знал, как она прекрасна, и не знала этого даже она сама. Иногда, купаясь в заводи горной речки и видя свое отражение в тихой воде, она думала, что выглядит миловидно, а потом ею овладевала глубокая грусть, ибо какой толк в миловидности, если некому оценить твою красоту? Красота – это та же бесполезность. Искусство так же, как и ремесла, грацию так же, как и пользу, нужно выставить на рынке, чтобы гомбины могли назначить за них цену.

Единственный дом рядом с домом ее отца был дом Бесси Хэнниган. Другие несколько

домов были разбросаны на долгие, тихие мили и отделены холмом и болотом, так что с самого своего рождения дочь Михаула, помимо отца, не видела и двух-трех мужчин. Она помогала отцу и матери во всех домашних делах и каждый день выводила их трех коров и двух коз пасти на склонах горы. Там солнечными днями годы проходили в теплом медлительном безмыслии, в котором, без думания, многие мысли входили в ее ум и многие картины мелькали мгновенно, как птицы в разреженном воздухе.

Сперва, и долгое время потом, она была вполне счастлива; много было вокруг нее такого, что может занимать ребенка: просторные небеса, которые никогда не бывают сегодня так же прекрасны, как вчера; бессчетные маленькие существа, живущие в траве или вереске; скорые спуски птиц с горы в бесконечные равнины под ней; маленькие цветы, которые так счастливы каждый своим тихим местечком; пчелы, собирающие пищу для своих домов, и толстые жуки, вечно сбивающиеся с пути в сумерках. Все это, и многое другое, занимало ее. Три коровы, нагулявшись, приходили и ложились рядом, глядя на нее и пережевывая жвачку, а козы выпрыгивали из папоротников и легонько толкали ее головой в грудь, потому что любили ее.

И в самом деле, все в ее тихом мирке любило девушку: но постепенно, исподволь в ее сознании росло беспокойство, непокой, который доселе не был знаком ей. Порой бесконечная усталость пригибала ее к земле. В голове рождалась мысль, и мысль эта не имела имени. Она росла и не могла выразиться. У девушки не было слов, чтобы встретить ее, изгнать ее или поприветствовать эту незнакомку, которая все более настойчиво и требовательно стучала в ее двери, прося, чтобы ей дали высказаться, допустили, приласкали и взрастили. Мысль – реальна, а слова – лишь ее одежды, но мысль застенчива, как девственница – пока она не оденется, как подобает, нельзя смотреть на ее наготу: она убежит от нас, и вернется лишь в темноте, плача тихим детским голоском, который мы можем не расслышать, пока, измученным умом вслушиваясь и дивясь, мы, наконец, не подберем для нее те символы, что станут ее защитой и знаменем. Поэтому девушка не могла понять прикосновения, приходившего к ней издалека, такого близкого – шепота, такого тихого и в то же время знакомого до дрожи. Ни привычек языка, ни привычек познания у нее не было; она умела лишь слушать, но не думать, чувствовать, но не знать; глаза ее смотрели и не видели, руки хватали солнечный свет и не ощущали ничего. Это было словно дуновение ветерка, что касалось ее одежды, но не могло поднять ее, или как первый светлый проблеск рассвета, который ни свет, ни тьма. Но она слушала – не слухом, а кровью. Пальцы ее души тянулись навстречу руке незнакомки, и беспокойство ее усиливалось жаждой, которая не была ни физической, ни умственной, ибо ни тело ее, ни ее ум не были со всей определенностью причастны к этому. Тревожилась какая-то область между ними, и наблюдала, и ждала, и не знала ни сна, ни усталости.

Однажды утром она лежала в высоких теплых травах. Она глядела на птичку, которая поднималась вверх, пропевала короткую песенку и бросалась вниз по крутому воздушному скату, пропадая в голубой дали. Даже когда птички не было видно, песня ее, казалось, звенела в воздухе. Казалось, она отзывается слабым сладостным эхом, попадая в такт, с короткими паузами, словно ее тревожил ветерок, и беззаботными руладами. Спустя немного, девушка поняла, что то была не птичка. Никакая птица не может пропеть такую последовательную мелодию, потому что песенки птиц так же беззаботны, как их крылья. Девушка села и огляделась, но не увидела ничего: горы мягко склонялись над ней, уходя в ясное небо; вокруг нее в солнечном свете дремали редкие кустики вереска; далеко внизу виднелся дом ее отца, серое пятнышко возле купы деревьев – и тут музыка оборвалась, и девушка осталась в недоумении.

Она нигде не могла найти своих коз, хотя искала долго. Наконец, козы вернулись к ней сами, из-за впадины между холмами, и они были так возбуждены, какими она их никогда раньше не видела. Даже коровы отбросили свою торжественность и пустились в дикий

пляс вокруг нее. По дороге домой в тот вечер непонятный восторг научил ее ноги танцевать. Она то и дело пританцовывала, то выбегая вперед животных, то отставая от них. Ноги никак не хотели шагать ровно. В ее ушах играла музыка, и она танцевала под нее, раскидывая руки в стороны и закидывая их за голову, нагибаясь и качаясь из стороны в сторону на ходу. Тело ее вдруг почувствовало полную свободу: легкость, ловкость и уверенность ее рук и ног также поразили ее. Вечер был полон мира и спокойствия, мягкий вечерний свет солнца проложил дорожку для ее ног, и повсюду по широким полям порхали и пели птицы, и она пела с ними песенку, в которой не было слов, и которая не нуждалась в них.

На следующий день она снова услышала музыку, далекую и тихую, удивительно прекрасную и дикую, как песня птицы, но в ней была мелодия, которой не запомнила бы ни одна птица. Мелодия повторялась снова и снова. Посреди трелей, зависаний, быстрых пробегов и приостановок она вдруг повторялась со странной, почти священной торжественностью – тихая, нежная мелодия, отрешенная и возвышенная. В ней было то, от чего учащается стук сердца. Девушка тянулась к ней слухом и губами.

Что это было – радость, угроза, ласка? Она не знала; но знала она, что, как ни жутко было это знать, мелодия обращалась лично к ней. То была ее неродившаяся мысль, непонятно как ставшая слышимой и осязаемой прежде, чем стала понятной.

В тот день она тоже никого не видела. Она отвела своих подопечных домой, не обращая на них внимания, и животные тоже вели себя очень тихо.

Когда музыка послышалась снова, она не попыталась обнаружить, откуда та приходит. Она лишь слушала, а когда музыка закончилась, она увидела человека, выходящего из впадины небольшого холма. Солнце светило из-за его рук и плечей, нижняя же часть тела была скрыта папоротниками, и он не смотрел на нее, а шел мимо, тихо наигрывая на сдвоенной флейте.

На следующий день он взглянул на нее. Он поднялся в зелени по пояс прямо перед нею. Она никогда не видела раньше такого странного лица. Она чуть не ослепла, глядя на него, и он тоже посмотрел на нее долгим внимательным, ничего не говорящим взглядом. Волосы его были темные и курчавые, нос – маленький и прямой, а уголки большого рта – печально опущены. Глаза его были большие и очень печальные, а лоб высокий и светлый. От его грустных глаз и уголков рта девушка едва не заплакала.

Когда он отвел глаза, он улыбнулся ей, и словно солнце внезапно осветило темноту, прогоняя всю печаль и мрак. Затем он ушел, пританцовывая. На ходу он поднес тонкую двойную флейту к губам и издал несколько бессвязных нот.

На следующий день он появился перед ней, как раньше, поглядев ей в глаза с близости. Он поиграл совсем недолго, но так, как надо, а потом пошел к ней. Когда он вышел из папоротников, девушка вдруг в испуге закрыла глаза ладонями. В нем появилось нечто новое, страшное. Верхняя половина его тела была прекрасна, но нижняя... Она боялась взглянуть на него снова. Она вскочила бы и убежала, но боялась, что он погонится за ней, а мысль об этой погоне и неизбежном пленении холодила ей сердце. Нам всегда страшно представить себе что-нибудь у себя за спиной. Топот погони страшнее нам, чем убийство, от которого мы бежим... Поэтому она сидела и ждала, но ничего не происходило. Наконец, отчаявшись, она отняла ладони от лица.

Он сидел на земле в нескольких шагах от нее. Смотрел он не на нее, а вдаль, на раскинувшиеся холмы. Ноги его были скрещены; они были косматы и заканчивались копытами, как

козьи: но она не стала смотреть на них ради его прекрасного, грустного, ироничного лица. Приятно смотреть на веселье, и невинное лицо радует нашу душу; но никакая женщина не может сопротивляться грусти или слабости, и безобразию она не смеет противиться. Ее природа стремится утешать. В этом ее смысл. Это погружает ее в экстаз, в котором ничто, кроме принесения себя в жертву, не имеет никакой размерности. Мужчины – отцы не по инстинкту, а по случайности, но женщины – матери превыше помысла, превыше инстинкта, который есть отец мысли. Материнство, самопожертвование – вот побуждения ее клеток, и даже то открытие, что все мужчины – шуты, лжецы и эгоисты, не отвращает ее от этого. Девушка смотрела на печаль его лица, и забывала о безобразности его тела. Женщины молчат о звере, сидящем во всех мужчинах; это ребячливость и энергия разрушения, неотделимые от молодости и возвышенного духа, и женщины всегда прощают эти качества, часто забывают о них, а иногда – и нередко – пестуют и выхаживают.

После недолгого молчания он поднес флейту к губам и сыграл короткую жалобную мелодию, а потом заговорил с нею неожиданным голосом, похожим на ветер издалека.

– Как тебя зовут, пастушка? – спросил он.

– Кейтилин, ингин ни Мурраху, – прошептала она.

– Дочь Мурраху, – сказал он, – я пришел из далекой страны, где высокие горы. Мужчины и девушки, что ходят за стадами в тех местах, знают меня и любят меня, ибо я – покровитель пастухов. Они поют и танцуют, они радуются, когда я прихожу к ним в солнечном свете; а в этой стране никто не почтил меня. Пастухи разбегаются, слыша мои флейты на пастбищах; девушки визжат от страха, когда я выхожу на луг потанцевать с ними. Я так одинок в этой чужой стране. Ты тоже, хоть и танцевала под музыку моих флейт, закрыла от меня лицо и не почтила меня.

– Я сделаю все, что вы скажете, если так надо, – сказала Кейтилин.

– Делай что-то не потому, что так надо, но потому, что таково твое желание. Надо – это слово, и Нельзя – это слово; но солнце встает утром, и роса ложится вечером, не думая об этих словах, не имеющих смысла. Пчела летит к цветку и разносит пыльцу, и она счастлива. Так надо, пастушка? – и нельзя тоже. Я пришел к тебе, потому что пчела летит к цветку – так нельзя! Если бы я не пришел к тебе, к кому бы я пошел? Не бывает надо или нельзя, но есть лишь воля богов.

– Я вас боюсь, – сказала девушка.

– Ты боишься меня потому, что мои ноги косматы, как ноги козла. Посмотри на них хорошенько, о Дева; пойми, что это и есть ноги зверя, и ты больше не будешь бояться. Разве ты не любишь зверей? Наверняка ты любишь их, ведь они тянутся к тебе, смиренно или страстно, подсовывая голову под твою руку, так же, как я. Если бы я не был устроен так, я не пришел бы к тебе, потому что не нуждался бы в тебе. Человек – и бог, и скот. Он возносится головой к звездам, но ноги его врыты в траву на полях, и когда он отречется от скота, на котором стоит, то не будет больше ни мужчин, ни женщин, и бессмертные боги развеют этот мир, как дым.

– Я не знаю, чего ты хочешь от меня, – сказала девушка.

– Я хочу, чтобы ты захотела меня. Я хочу, чтобы ты забыла, что надо и что нельзя; чтобы ты была счастлива, как звери, беззаботна, как цветы и птицы. Чтобы ты жила в глубинах своей природы так же, как и в высотах. Истинно, в высотах есть звезды, и они станут венком на твоем челе. Но глубины равны высотам. Дивно глубоки те глубины, и богата глубочайшая глуби-

на. Там тоже есть звезды, ярче тех звезд, что в вышине. Имя высот – Мудрость, а имя глубин – Любовь. Как они соединятся и принесут плоды, если ты не нырнешь глубоко и бесстрашно? Мудрость – это дух и крылья, на которых взлетает дух; Любовь – косматый зверь, идущий вниз. Он смело ныряет за пределы мысли, за пределы Мудрости, чтобы восстать над ними так же, как опустился сперва. Мудрость праведна и чиста, Любовь же нечиста и свята. Я воспеваю зверя и падение: великая нечистота очищает себя в огне: мысль, рожденная мерилami не льда, не головы, а ног, горячей крови и биения Страсти. Венец Жизни возложен не на солнце: мудрые боги погребли его глубоко, где ни мыслящая воля не найдет его, ни добро: но Веселые, Смелые, Беззаботные Нырятьщики, они вынесут его к мудрым и поразят их. Все видно при свете – а как ценить то, что легко увидеть? Но драгоценности, которые сокрыты – наш поиск сделает их более ценными: наша печаль сделает их прекрасными: они будут благородны, потому что мы желаем их. Пойдем со мной, пастушка, вдаль по полям, и мы будем беззаботны и счастливы, и оставим мысли найти то, что она сможет найти, ибо таков долг мысли, и она больше стремится найти нас, чем мы – быть найденными.

И тогда Кейтилин Ни Мурраху встала и пошла с ним по полям; и пошла она с ним не из любви, и не потому, что поняла его слова, а только потому, что он был наг и не стыдился.

Глава VII

Именно по поводу своей дочери Михаул МакМурраху пришел к Философу. Он не знал, что с ней, и мог предоставить в распоряжение своего советчика лишь немногие факты.

Михаул оставил Тощую Женщину с Инис-Маграта нюхать табак под сосной и вошел в дом.

– Господь со всеми здесь, – сказал он, войдя.

– И с тобой Господь, Михаул МакМурраху, – сказал Философ.

– Я сегодня в большом затруднении, сэр, – сказал Михаул, – и если бы вы могли дать мне совет, я был бы вам очень обязан.

– Это я могу.

– Никто не сделает этого лучше, чем ваша честь, и это вовсе вас не затруднит. Насчет стиральной доски вы дали мне замечательный совет; и если я не приходил до сих пор поблагодарить вас, то не потому, что не хотел, а оттого, что не мог пошевелить ни ногой, ни рукой от приступа жуткого ревматизма, который навели на меня лепреканы с Горта-на-Клока-Мора, чтоб им пусто было: так меня скрючило, что у вас глаза бы заболели только смотреть на меня, а мучения были такие, что вы бы просто очумели.

– Никоим образом, – сказал Философ.

– Ну да ладно, – сказал Михаул. – Пришел же я по поводу моей юной дочери Кейтилин. Ни слуху, ни духу ее нет уже три дня. Жена сперва сказала, что ее забрали эльфы, потом – что она ушла с каким-нибудь бродягой-музыкантом, а потом она сказала, что, может быть, наша девочка лежит мертвая в канаве, с раскрытыми глазами, и будет глядеть теперь на луну ночью и на солнце днем, пока вороны с ней не разделяются.

Философ придвинул свой стул поближе к Михаулу.

– Дочери, – сказал он, – стали причиной беспокойства для своих родителей с тех самых пор, как их придумали. Летучесть женской натуры весьма очевидна в тех, кто не вступил еще

в возраст, который учит скрывать свои проступки и слабости, и потому девушки состоят из оплошностей, как куст – из веток.

– Кто поспорит с этим, тот... – сказал было Михаул.

– Детям женского пола, однако, природа особо благоволит. Она производит их в количестве, намного превосходящем количество самцов, и поэтому можно было бы решить, что они превосходят самцов; однако, хорошо проверенный закон о том, что меньшинство всегда управляет большинством, избавит наш ум от опасения, которое иначе могло бы сделаться невыносимым.

– Это вполне верно, – сказал Михаул. – Не замечали ли вы, сэр, что в помете щенят...

– Никоим образом, – сказал Философ. – Любопытно заметить, что некоторые занятия и профессии склонны передаваться по женской линии. Главенствующую должность у муравьев и пчел всегда занимает матка, и трактирщицы также наследуют свое занятие у матерей. Нетрудно заметить, что у каждой трактирщицы бывает по три дочери необычайной красоты. Без этих указаний нам пришлось бы постоянно подозревать мужественный напиток, дивясь тому, что в нем содержится совершенно неподобающий процент воды, ибо если происхождение его осквернено, то как может уцелеть его честь?

– Мудрая же голова нужна для таких мыслей, – сказал Михаул.

– Никоим образом, – сказал Философ. – Во всей природе женский пол стремится к полигамии.

– Если моя несчастная дочка, – сказал Михаул, – лежит в канаве...

– Не имеет значения, – сказал Философ. – Многие народности стремятся положить какие-то пределы этому приросту женского пола. Некоторые народы Востока наделяют титулом божества крокодилов, змей и тигров в джунглях, а затем скормливают своих лишних дочерей им. В Китае, к примеру, эти жертвоприношения отстаиваются как практика почтенная и экономическая. Но, вообще говоря, если уж необходимо ограничивать число дочерей, то мне больше по душе твой метод терзания их, чем религиозно-истерические выкрутасы Востока.

– Клянусь вам, сэр, – сказал Михаул, – что я совершенно не понимаю, о чем вы говорите.

– Тому причиной, – сказал Философ, – могут быть три вещи: во-первых, недостаточная церебральная концентрация, то есть, рассеянность; во-вторых, это может быть вызвано локальными особенностями формы черепа или, возможно, тем, что мозговые извилины залегают неглубоко; и в-третьих...

– А вы не слыхали, – сказал Михаул, – о человеке, которому выстрелом из ружья сорвало скальп, и на затылок ему приспособили доньшко от жестянки, так что можно было слышать, как мозги тикают под ним, ну в точности как часы на башне в Уотербери?

– Никоим образом, – сказал Философ. – В-третьих, это может быть...

– Дочка-то моя, Кейтилин, сэр, – скромно напомнил Михаул. – Поди, лежит она сейчас в канаве, и вороны клюют ей глазки...

– А от чего она умерла? – спросил Философ.

– Да это жена моя говорит, что, может быть, она умерла, или что, может быть, ее увели эльфы, а может быть, она ушла с бродягой, который играл музыку. Жена говорит, что это была концертина, но сам я думаю, что у него была дудка.

– Что это был за бродяга?

– Я его не видел, – сказал Михаул, – но однажды я поднялся на несколько саженей в гору и услышал, как он играет – такая тонкая, писклявая музыка, точно играли на дудочке. Я искал его, но нигде никого не увидел.

– И? – спросил Философ.

– Я искал вокруг... – объяснил Михаул.

– Я знаю, – сказал Философ. – А видел ли ты своих коз?

– Да как же я мог их не видеть? – ответил Михаул.

– И как они себя вели? – спросил Философ быстро.

– Носились друг за другом по полю, вставали на задние ноги и откалывали такие штуки, что я, глядя на них, смеялся, пока у меня живот не заболел.

– Это очень интересно, – сказал Философ.

– Вы мне говорите! – ответил Михаул.

– Говорю, – сказал Философ, – и вот по какой причине: почти все народы мира в то или иное время...

– А дочурка-то моя, Кейтилин, сэр... – сказал Михаул.

– Я помню про нее, – ответил Философ.

– Большое спасибо вам, сэр.

Философ продолжил:

– ...почти все народы мира в то или иное время посещал этот бог по имени Великий Бог Пан; но о путешествиях его в Ирландию свидетельств не сохранилось; в исторический же период он совершенно точно не посещал эти берега. Долгое время он жил в Египте, в Персии и в Греции; и хотя считается, что империя его – весь мир, его вселенскую власть всегда оспаривали и всегда будут оспаривать; но несмотря на это, как бы ни урезали его империю, он никогда не останется без царства, в котором его притязания на власть будут признаны с радостью и рвением.

– Так он – один из старых богов, сэр? – спросил Михаул.

– Именно так, – ответил Философ, – и его появление не сулит нашей стране ничего хорошего. Ты имеешь какое-нибудь представление, зачем он забрал твою дочь?

– Ни малейшего понятия.

– Твоя дочь красива?

– Не могу вам сказать – я никогда не думал о ней в этом смысле. Но она хорошая доярка и сильная, как мужик. Мешок муки ей поднять легче, чем мне; но при всем при этом она тихая и скромная.

– Какова бы ни была причина, я уверен, что девушка у него; и я склоняюсь к мысли, что навели его на нее лепреканы с Горта. Ты знаешь, что они объявили тебе войну с тех самых пор, как была убита их птичка?

– Не похоже, что я забуду это – да они еще и терзают меня днем и ночью.

– Можешь быть уверен, – сказал Философ, – что он сейчас не где-нибудь, а на Гортена-Клока-Мора, потому что он здесь чужой и не знает, куда идти, если только его не наведут, а вот лепреканы знают все уголки и щели этой земли с древнейших времен. Я бы пошел и поговорил с ним сам, но из этого не вышло бы много толку; и тебе ходить также не стоит. Надо всеми взрослыми он имеет власть, и они либо пойдут и напьются, либо влюбятся в первого встречного и наделают ошибок и таких вещей, о которых я не хотел бы тебе говорить. Единственные, кто может подойти к нему, это маленькие дети, потому что над ними у него нет власти, пока они не входят в возраст чувственности – а тогда уж он принимает их под свое владычество, как всех остальных. Я пошлю к нему двух моих детей сказать, что он поступает дурно, и что если он не отпустит девушку и не уйдет в свою страну, то мы обратимся за помощью к Ангусу Óгу¹¹.

– Уж этот-то ему даст на орехи, я думаю!

– Может, это точно; но он может точно так же забрать девушку себе.

– Ну, я бы выбрал скорее его, чем другого, потому что он все-таки из наших, а знакомый черт лучше незнакомого.

– Ангус Óг – бог, – поправил Философ.

– Я знаю, сэр, – ответил Михаул. – Это поговорка у меня такая. Но как ваша честь доберется до Ангуса? Я слышал, что его не видели уже сто лет, и только однажды ночью он полчас проговорил с одним человеком в Килмашеог.

– Я найду его – наверняка, – ответил Философ.

– Зуб даю, что найдете, – горячо ответил Михаул и встал. – Долгих лет и доброго здоровья вашей чести, – сказал он и повернулся к двери.

Философ разжег трубку.

– Мы живем столько, сколько нам отпущено, – сказал он, – и имеем такое здоровье, какое заслуживаем. В твоем пожелании воплощено нефилософическое представление о смерти. Мы вынуждены во всем стремиться к логическому завершению. Соединение противоположностей есть завершение. Жизнь движется к смерти как к цели, и мы должны подходить к этой следующей стадии опыта либо беззаботно, как к тому, что должно случиться, либо с добрым, честным любопытством, как к тому, что может случиться.

– Не так уж это забавно умирать, сэр, – сказал Михаул.

– Откуда ты знаешь? – спросил Философ.

– Да уж знаю, – ответил Михаул.

Глава VIII

Упав в нору у подножия дерева, дети обнаружили, что скользят по узкой трубе, ведущей под уклон вниз; труба бережно выпустила их в небольшую комнатку. Эта комнатка была выкопана прямо под деревом, и ни один из корней и корешков, проходивших через нее, не был нарушен, что потребовало большого старания, потому что корни пронизали комнату, изви-

11 Ирл. “Ангус Юный”, бог любви в ирландской мифологии.

ваясь и переплетаясь самым причудливым образом. Чтобы перейти с одного места на другое, приходилось обходить, перепрыгивать через и подлезать под корни до бесконечности. Некоторые корни располагались весьма удобно для того, чтобы использовать их как низкие сиденья и узкие неровные столики, а дальше все корни уходили в пол комнаты и следовали в том направлении, какого требовало их дело. После поля это место показалось детям очень темным, и несколько минут они не видели ничего, но спустя немного времени глаза их привыкли к полумраку, и они вполне смогли все разглядеть.

Первым делом они увидели шесть человечков, сидевших на низких корнях. Все человечки носили зеленую одежду и маленькие клеенчатые переднички, а на головах у них были высокие зеленые колпачки, которые покачивались в такт их движениям. Все они деловито мастерили обувь. Один сучил на колене дратву, другой размачивал куски кожи в ведре с водой, третий полировал внутреннюю сторону ботинка куском выделанной кости, четвертый подравнивал каблуки коротким и широким ножом, а пятый вколачивал в подошву деревянные шпильки. Все шпильки он держал во рту, и от этого на лице его стояла широкая веселая ухмылка; а как только ему требовалась шпилька, он выплевывал ее себе в руку и дважды стучал по ней молотком, затем выплевывал следующую шпильку, и она всегда попадала правильным концом вверх, и ни разу не приходилось ему стучать молотком больше, чем дважды. На его работу стоило посмотреть.

Дети выскользнули из норы так неожиданно, что почти позабыли все правила хорошего тона, но как только Шеймас обнаружил, что находится в комнатке, он встал и снял шапку.

– Господь со всеми здесь, – сказал он.

Лепрекан, который завел их сюда, поднял Бригид с пола, к которому ее все еще приковывало изумление.

– Садись вон на тот корешок, дитя моего сердца, – сказал он, – и ты сможешь вязать для нас носки.

– Хорошо, сэр, – послушно сказала Бригид.

Лепрекан снял с высокого горизонтального корня четыре спицы и клубок зеленой шерсти. Для этого ему пришлось перелезть через один корень, обойти три и подняться по двум, и он сделал это так легко, словно ему это не составило никакого труда. Спицы и шерсть он вручил Бригид Бег.

– Ты умеешь обметывать пятку, Бригид Бег? – спросил он.

– Нет, сэр, – сказала Бригид.

– Ну, значит, я покажу, когда ты дойдешь до этого.

Все шесть лепреканов остановили работу и смотрели на детей. Шеймас обратился к ним.

– Господь благослови вашу работу, – сказал он вежливо.

Один из лепреканов, седой и морщинистый, с тонкими седыми усами, свисавшими далеко вниз, сказал тогда:

– Подойди сюда, Шеймас Бег, я сниму с тебя мерку на пару ботинок. Поставь ногу вот на этот корень.

Мальчик так и сделал, и лепрекан снял мерку с его ноги деревянной линейкой.

– Теперь ты, Бригид Бег, покажи мне свою ногу, – и он смерил также и ее. – Будет готово к утру.

– А кроме обуви вы ничего не делаете, сэр? – спросил Шеймас.

– Ничего, – ответил лепрекан. – Разве что когда нам нужна новая одежда, то ее приходится шить, но нам жаль каждой минуты, потраченной не на шитье обуви, потому что только это – настоящее занятие для лепрекана. Ночью мы ходим по улицам, заходим в дома людей и срезаем с их денег маленькие частички. Частичку за частичкой мы кладем в наш золотой горшок, потому что, видишь ли, лепрекан должен иметь золотой горшок, чтобы выкупить себя, если люди его поймают. Но такое случается редко, потому что дать человеку себя поймать – большой позор, и мы столько упражняемся в лазании по корням тут у нас дома, что ускользнуть от людей нам нетрудно. Конечно, время от времени нас ловят; но люди глупы, и нам всегда удается уйти от них и безо всякого выкупа. Зеленое же мы носим потому, что это цвет травы и листьев, и когда мы сидим под кустом или лежим в траве, люди просто проходят мимо и не замечают нас.

– А вы покажете мне ваш золотой горшок? – спросил Шеймас.

Лепрекан пристально посмотрел на него:

– Ты лепешки с молоком любишь? – спросил он.

– Очень люблю, – ответил Шеймас.

– Тогда лучше поешь немного, – и лепрекан достал с полки кусок лепешки и налил в два блюда молока.

Пока дети ели, лепрекан задал им много вопросов:

– Во сколько вы встаете по утрам?

– В семь часов, – ответил Шеймас.

– И что вы едите на завтрак?

– Кашу с молоком, – ответил тот.

– Добрая еда, – сказал лепрекан. – А что у вас на обед?

– Картошка с молоком, – сказал Шеймас.

– Совсем неплохо, – сказал лепрекан. – А что на ужин?

На этот раз ответила Бригид, потому что у брата был набит рот:

– Хлеб с молоком, сэр, – сказала она.

– Нет ничего лучше, – сказал лепрекан.

– А потом мы ложимся спать, – продолжила Бригид.

– Почему бы и нет? – сказал лепрекан.

Именно тут Тощая Женщина с Инис-Маграта постучала по стволу дерева и потребовала, чтобы ей вернули детей.

Когда она ушла, лепреканы устроили совет, на котором было решено, что они не могут позволить себе ссориться с Тощей Женщиной и со всеми Ши Кругана-Конгайле; так что ле-

преканы пожали детям руки и попрощались с ними. Лепрекан, который увел их от дома, привел их обратно и, прощаясь, пригласил детей заходить на Горт-на-Клока-Мора, когда они только захотят.

— У нас всегда найдется кусок лепешки, пирога с картошкой и глоток молока для друга, — сказал он.

— Вы очень добры, сэр, — ответил Шеймас, и сестра его сказала то же самое.

Лепрекан ушел, а они стояли и провожали его взглядом.

— Помнишь, — сказал Шеймас, — как он прыгал и дрыгал ногой в прошлый раз?

— Помню, — ответила Бригид.

— А вот сейчас он не прыгает и не делает ничего такого, — сказал Шеймас.

— Сегодня он грустный, — сказала Бригид, — но он мне все равно нравится.

— И мне, — сказал Шеймас.

Когда они вернулись домой, Тощая Женщина с Инис-Маграта очень обрадовалась им, и испекла пирог с черешней, и дала детям также каши и картошки; Философ же вовсе не заметил, что дети отсутствовали. Наконец он сказал, что разговор есть глупость, что от женщин всегда сумятица, что детей нужно кормить, но не раскармливать, и что постели придумали для того, чтобы спать в них. Тощая Женщина ответила, что он — гнусный старый пень, лишенный человеческого чувства, что она не знает, зачем она вышла за него замуж, что он аж в три раза старше ее, и что никто не поверит, если узнает, с чем ей приходится жить.

Глава IX

Выполняя данное Михаулу МакМурраxu обещание, Философ отправил детей искать Пана. Он дал им подробнейшие наставления о том, как обращаться к Лесному Богу; и, выслушав предостережения от Тощей Женщины с Инис-Маграта, рано поутру дети вышли в путь.

Дойдя до освещенной солнцем полянки в сосновом бору, они ненадолго присели погреться на солнышке. Птицы то и дело влетали в солнечный свет и снова ныряли в сумрак леса. В клювиках у птиц все время что-нибудь было. Это были червячки, улитки, кузнечик или клочок шерсти, оброненный овцой, кусочек тряпки или пучок сена; отнеся это куда-то, они снова вылетали в солнечный свет и искали еще чего-нибудь, что можно было бы притащить домой. Завидев детей, каждая птичка махала крылышками и издавала какой-нибудь особый звук. Это были "кар-р" и "чирк", "твить" и "ту-у", "пинь-пинь" и "у-ух"; а птичка, которую малыши любили больше всех, всегда говорила "ти-ти-ти-ти-ти". Дети любили ее потому, что она была такая внезапная. Никогда нельзя было угадать, куда она полетит в следующий миг, да она, должно быть, и сама этого не знала. Она бросалась то вперед, то назад, то вверх, то вниз, и вбок, и вкривь, и вкось — и все это, что называется, единым духом. Так она летала потому, что ей любопытно было, что делается повсюду, а поскольку где-то все время делалось что-то, ей никогда не удавалось пролететь по прямой чуть больше самого короткого расстояния. К тому же, это была пугливая птичка, которая то и дело воображала, что кто-то целится в нее камнем из-за куста, из-за стены или из-за дерева, и эти воображаемые опасности делали ее полет еще более причудливым и непредсказуемым. Она никогда не летела туда, куда хотела сама, но только туда, куда направлял ее Бог, а потому дела ее были не так уж плохи.

Дети знали всех птичек по голосам, и всегда здоровались с ними их словами, когда те

пролетали мимо. Поначалу им трудно было говорить той или иной птичке правильное слово, и иногда вместо приветствия "ту-у" они говорили "чирк". Птичкам это не нравилось, и они зло смеялись над детьми, но, поупражнявшись, дети перестали делать ошибки. Одна птица – большая и черная – любила, чтобы с ней поговорили. Она садилась перед детьми на землю и говорила "кар-р" до тех пор, пока ей говорили "кар-р" в ответ. Часто она проводила за разговором все утро, тогда как прочие птицы останавливались не более, чем на несколько минут. По утрам они всегда были заняты, но вечером у них бывало побольше свободного времени, и они могли остановиться и поболтать столько, сколько детям хотелось. Плохо было лишь то, что все птицы хотели говорить одновременно, и малыши никак не могли решить, кому из них ответить. Шеймас Бег кое-как вышел из этого затруднения, научившись высвистывать птичьи ноты, но все равно птицы говорили с такой скоростью, что ему никак было не угнаться за ними. Бригид могла высвистывать только одну ноту; длинное низкое "фиу-у", над которым все птицы смеялись, и после нескольких попыток она вовсе бросила свистеть.

Пока дети сидели там, два кролика вышли поиграть на лужайке. Они бегали друг за другом кругами, и двигались очень быстро и хитро. Иногда они раз по шесть-семь подряд перепрыгивали друг через друга, и то и дело присаживались на задние лапы и утирали мордочку передними. Время от времени они отщипывали стебелек травки и грызли его с восторгом, приносясь, что это изысканная закуска из капустных листьев и салата.

Дети поиграли с кроликами, а на полянку вдруг выбрался из папоротников дюжий пожилой козел. Это был их старинный знакомец, который любил полежать возле детей, и чтобы те чесали ему лоб острой палочкой. Лоб у него был твердый, словно каменный, и шерсть росла на нем редко, как трава на стене или, вернее, как мох на стене – коротким ковриком, а не порослью. Рога у него были длинные и очень острые, отполированные до блеска. В тот день на шее у козла висели два венка – один из лютиков, а другой из ромашек, и дети подивились, кто это так хорошо сплел? Они спросили козла об этом, но тот лишь посмотрел на них и не сказал ни слова. Детям нравилось разглядывать глаза козла; они были очень большие, и престранного светло-серого цвета. Взгляд их был волнующе пристальный, временами поразительно разумный, и иногда в них появлялось отеческое и благожелательное выражение, а иногда, особенно, когда он косил вбок – выражение шкодливое, легкомысленное, нахальное, задорное и немного пугающее; но всегда он глядел смело и уверенно. Когда козлу начесали лоб столько, сколько ему хотелось, он поднялся, встал между детей и легко зашагал в лес. Дети побежали за ним, ухватив его за рога с обеих сторон, и козел шел иноходью посередине, а по бокам дети танцевали и пели обрывки из песен птиц и старинных песен, которым Тоцая Женщина с Инис-Маграта выучилась в народе Ши.

Скоро они вышли к Горту-на-Клока-Мора, но козел не остановился. Они миновали большое дерево лепреканов, перебрались через поваленную изгородь и вышли на другое, заросшее поле. Солнце светило на славу. Ни один ветерок не колыхал жесткие стебли травы. Вдали и вблизи было тихо и тепло, торжественный покой царил повсюду. Несколько легких облачков проплывало по голубому небу, такому широкому, что горизонт было не охватить глазом. Пчелы гудели свою песню, и то и дело торопливо пролетала с дребезжащим звуком оса. Кроме этих звуков, не было никаких других. Все выглядело таким мирным, невинным и безопасным, словно не только утро родилось недавно, но и весь мир.

Дети, все еще держась за рога своего друга, подошли к краю поля, которое здесь начинало подниматься в гору. Кругом попадались большие валуны, поросшие лишайником и мхом, а вокруг них папоротники и терновник, и в каждом углублении этих валунов росли какие-то травки, чьи маленькие крепкие корешки жадно и отчаянно цеплялись за почву, глубина которой едва ли превышала полдюйма. Иногда эти валуны были побиты так сильно, что твердая

гранитная поверхность раскалывалась на куски. В одном месте сквозь тощую растительность сурово проглядывала голая каменная стена, потрескавшаяся и древняя. К этой каменной стене и подошел, пританцовывая, козел. В стене была дыра, затянутая кустами. Козел пробрался под ветвями и скрылся. Дети, недоумевая, куда он мог деваться, тоже протиснулись туда. За кустом они обнаружили высокую узкую щель, и, почесав ноги, горевшие от укусов колючек, шипов и острых лезвий травы, дети вошли в пещеру, где, как они решили, козел укрывается в холодные и сырые ночи. Пройдя вглубь несколько шагов, они увидели, что пещера вполне удобно расширяется, и тут они увидели свет, а еще через мгновение уже смотрели, моргая, на бога Пана и Кейтилин Ни Мурраху.

Кейтилин тут же узнала их и поприветствовала:

– О, Шеймас Бег, – воскликнула она с укором, – как же ты запачкал ноги! Пойди-ка побегай по траве. А ты, Бригид – тебе стыдно должно бы быть за такие руки! Ну-ка, оба сюда!

Каждый ребенок знает, что любая взрослая женщина имеет право умывать ребенка и кормить его; для этого и существуют взрослые, и потому Шеймас и Бригид Бег были подвергнуты мытью, для которого Кейтилин приготовила все в одно мгновение. Когда дети были вымыты, Кейтилин указала им на пару плоских камней у стены пещеры, велела им сесть и вести себя хорошо, что дети и сделали, уставившись на Пана с веселой серьезностью и любопытством, с которым хорошие малыши всегда смотрят на незнакомца.

Пан, возлежавший на ложе из сена, сел и так же весело глянул на детей:

– Пастушка, – спросил он, – кто эти дети?

– Это дети Философов из Койлла-Дорака; их матери – Седая Женщина из Дун-Гортини и Тощая Женщина с Инис-Маграта, и это славные бедные детишки, Господь их благослови.

– Зачем они пришли сюда?

– Спроси у них сам.

Пан, улыбнувшись, повернулся к детям:

– Зачем вы пришли сюда, детишки? – спросил он.

Дети глазами спросили друг у друга, кто из них будет отвечать, и ответил Шеймас Бег:

– Отец послал меня к вам, сэр, повидать вас и сказать, что вы поступаете нехорошо, не отпуская Кейтилин Ни Мурраху домой.

Бригид Бег повернулась к Кейтилин:

– Твой отец приходил к нашему отцу и говорил, что не знает, что с тобой, и что, может быть, черные вороны уже клюют твоё тело.

– А что ваш отец сказал на это? – спросил Пан.

– Он сказал, чтобы мы пошли и попросили ее вернуться домой.

– Ты любишь своего отца, девочка? – спросил Пан.

Бригид Бег на мгновение задумалась.

– Не знаю, – ответила она.

– Он вообще-то не обращает на нас внимания, – встрял Шеймас Бег, – поэтому мы не

знаем, любим мы его или нет.

– А Кейтилин я люблю, – сказала Бригид, – и тебя тоже.

– И я, – сказал Шеймас.

– И вы мне нравитесь, детишки, – сказал Пан. – Идите, садитесь ко мне, и поговорим.

Дети подошли к Пану и сели по обе стороны от него, а он обнял их руками.

– Дочь Мурраху, – сказал он, – нет ли в доме еды для гостей?

– Есть коврига хлеба, немного козьего молока и сыра, – ответила та и занялась всем этим.

– Никогда не пробовал сыра, – сказал Шеймас. – Он вкусный?

– Конечно, – ответил Пан. – Сыр, сделанный из козьего молока, весьма крепок, и его полезно есть тем, кто живет на свежем воздухе, но не тем, кто живет в домах, потому что у таких людей не бывает аппетита. Этих убогих я не люблю.

– Я люблю поесть. – сказал Шеймас.

– Я тоже. – сказал Пан. – Все хорошие люди любят поесть. Голодный человек – хороший человек, а не голодный человек – плохой человек. Лучше быть голодным, чем богатым.

Кейтилин, поставив детям еду, села перед ними.

– Не думаю, что это так, – сказала она. – Я всегда была голодна, и это никогда не было приятно.

– Если бы ты всегда была сыта, это понравилось бы тебе еще меньше, – ответил Пан, – потому что когда ты голодна, ты живешь, а когда не голодна, то живешь только наполовину.

– Чтобы быть голодным, довольно быть бедным, – ответила Кейтилин. – Мой отец беден, и в этом нет для него ничего хорошего, а только работа с утра до ночи, и никогда она не кончится.

– Мудрому плохо быть бедным, – сказал Пан, – и плохо глупому быть богатым. Богатый глупец думает лишь о том, чтобы закрыться в темном доме, и там он утоляет свой голод, и будет делать это до тех пор, пока его голод не умрет, а сам он не станет навряд ли мертвеца; но мудрец, который богат, будет бережно сохранять свой аппетит. Все, кто были богаты долгое время или богаты от рождения, много времени проводят вне своих домов, и поэтому они всегда голодны и здоровы.

– У бедняков нет времени на мудрость. – сказала Кейтилин.

– У них есть время на голод, – сказал Пан. – Большого мне от них не нужно.

– Мой отец – очень мудрый, – сказал Шеймас Бег.

– Откуда ты это знаешь, малыш? – спросил Пан.

– Потому что он все время говорит.

– И ты всегда слушаешь?

– Нет, сэр, – сказал Шеймас. – Когда он начинает говорить, я ложусь спать.

– Очень умно поступаешь. – сказал Пан.

– И я тоже ложусь спать. – сказала Бригид.

– И ты поступаешь очень умно, дитя мое. А когда говорит ваша мать, вы тоже ложитесь спать?

– О, нет, – ответила Бригид. – Если мы засыпаем тогда, мама щиплет нас и говорит, что мы – дрянные дети.

– По-моему, ваша мама – мудрая женщина. – сказал Пан. – Что ты любишь больше всего на свете, Шеймас Бег?

Мальчик подумал и ответил:

– Я не знаю, сэр.

Пан тоже задумался.

– И я не знаю, что я люблю больше всего. – сказал он. – Что ты любишь больше всего на свете, пастушка?

Кейтилин смотрела на него.

– Пока не знаю. – тихо отозвалась она.

– Да хранят вас боги от этого знания. – промолвил Пан.

– Почему ты так говоришь? – спросила Кейтилин. – Человек должен разобраться во всем, а когда он в чем-то разберётся, он понимает, хорошо это или плохо.

– Это начало знания, – сказал Пан, – но это не начало мудрости.

– А что есть начало мудрости?

– Беззаботность. – ответил Пан.

– А что есть конец мудрости? – спросила Кейтилин.

– Не знаю, – ответил Пан, помолчав.

– Может быть, еще большая беззаботность? – поинтересовалась Кейтилин.

– Не знаю. Не знаю! – отрезал Пан. – Я устал от разговоров.

И, сказав это, он отвернулся от них и лег на лежанку.

Кейтилин быстро отправила детей за дверь пещеры и поцеловала их на прощанье.

– Пан заболел. – сказал мальчик с грустью.

– Надеюсь, он скоро поправится. – пролепетала девочка.

– Конечно, конечно. – ответила Кейтилин и поспешила назад к своему повелителю.

Книга II. Путешествие Философа

Глава X

Вернувшись домой, дети рассказали Философу о результатах своего похода. Философ подробно расспросил детей, как выглядит Пан, о том, как он принимал их, и о том, что он говорил в защиту своей порочности; когда же он узнал, что Пан ничего не ответил на его послание, он очень рассердился. Он попытался уговорить свою жену предпринять еще одно посольство, напирая на свое отвращение и презрение к этому богу, но Тощая Женщина ответила на это, что она – уважаемая женщина, что если уж ее лишили ее мудрости, то она не желает теперь лишиться также и доброго имени, что мужья всегда чего только не сделают, чтобы опозорить своих жен, и что хоть она и вышла замуж за глупца, но из-за этого еще не потеряла окончательно уважение к себе. Философ заметил ей, что ее возраст, внешность и язык вполне гарантируют ее неуязвимость как от происков Пана, так и от злословия, и что он не имеет в этом деле никакого личного интереса, за исключением научного, а также добрососедского желания помочь Михаулу МакМурраxu в его заботах; но все эти соображения жена его назвала хитрыми и злодейскими уловками, обычными для всех мужей.

Таким образом дело покуда совершенно зашло в тупик, и Философ решил представить его перед Ангусом Óгом и попросить у него помощи и защиты от имени клана МакМурраxu. Посему он велел Тощей Женщине испечь ему пару хлебов и стал собираться в путешествие.

Тощая Женщина испекла ему два хлеба и положила их в его суму, а рано на следующее утро Философ надел суму на плечо и отправился в свой поход.

Выйдя к опушке соснового бора, Философ остановился на минуту, не вполне зная, куда идти, а затем двинулся также в направлении Горта-на-Клока-Мора. Когда он переходил через Горт, ему пришлось было на ум вызвать лепреканов и поговорить с ними, но воспоминание о Михауле МакМурраxu и проблеме, над которой работал Философ, и след которой явно вел к лепреканам, ожесточило его сердце против соседей, и он проследовал мимо тиса, не остановившись.

Вскоро Философ вышел на каменистое заросшее вереском поле, где дети нашли Пана, и, поднимаясь в гору, увидел Кейтилин Ни Мурраxu, шедшую неподалеку впереди него с небольшим кувшином в руке. Только что подоенная ею коза снова пощипывала травку, и, взглянув на идущую перед ним Кейтилин, Философ прикрыл глаза в праведном гневе, а потом снова открыл в не столь уж противоестественном любопытстве, ибо – на девушке не было одежды. Философ увидел, как она, зайдя за куст, скрылась в расщелине скалы, и, движимый гневом как на нее, так и на Пана, бросил путь благочестия, что вел вверх по склону, и последовал за ней в пещеру. Кейтилин быстро выскочила на звук его шагов, но он с грубым словом оттолкнул ее:

– Пошла прочь! – сказал он и вошел в пещеру, где сидел Пан.

Войдя, он сразу пожалел о своей грубости и сказал:

– Человеческое тело состоит из плоти и жил, насаженных на костную основу. Назначение одежды прежде всего в том, чтобы защищать организм от дождя и холода, и можно перестать считать одежду знаменем морали без ущерба для этой фундаментальной предпосылки. Если человек отказывается от защиты одежды, то кто вправе оспаривать его драгоценную сво-

боду? Достоинство состоит не в одежде, но в Духе. Мораль есть поведение. Добродетель есть мысль... Я часто думал, – продолжал Философ, обращаясь к Пану, который теперь повернулся к нему, – что влияние одежды на ум весьма значительно, и что это влияние имеет скорее изменяющее, чем расширяющее качество, или даже усиливающее противу расслабляющего. Одежда оказывает влияние на всю окружающую среду. Воздух, являющийся нашей природной средой обитания, допускается к нашему телу скупно и ограниченно, что навряд ли может быть так же благотворно, как неограниченная игра стихий. Естественным образом встает вопрос – так ли одежда чужда природе, как мы считаем? Рассматривая ее как меру защиты от превратностей атмосферы, мы обнаруживаем, что многие существа заводят, по собственному глубинному побуждению, различные виды покрова, которые можно считать их настоящей одеждой. Медведи, кошки, собаки, мыши, овцы и бобры облачены в шерсть или мех, благодаря которой этих существ никак нельзя счесть обнаженными. Раки, кузнечики, улитки и моллюски образуют вокруг себя прочный панцирь, внутри которого их наготу можно открыть лишь насильственно; и многие другие существа равным образом обзавелись тем или иным покровом. Следовательно, одежда является не ухищрением, но инстинктом, и то, что человек рождается голым и не выращивает свой покров на себе, но составляет его себе из разнообразных внешних источников, ничуть не повод объяснять эту необходимость инстинктом достоинства. Это, как вы понимаете, весомые рассуждения, и над ними стоит поразмыслить прежде, чем мы перейдем к обширному и полному заваык предмету моральных и аморальных поступков. Итак, что есть мораль?..

Пан, выслушавший эти рассуждения с большим вниманием, здесь вмешался в речь Философа:

– Добродетель, – сказал он, – есть совершение приятных дел.

Философ некоторое время повертел это утверждение на указательном пальце.

– А что же тогда порок? – спросил он.

– Порочно пренебрегать совершением приятных дел. – сказал Пан.

– Если это так, – заметил его собеседник, – то философия до сих пор была на неверном пути.

– Так и есть, – сказал Пан. – Философия – аморальное занятие, потому что она предлагает образец поведения, которому невозможно следовать, и который, если бы ему можно было следовать, приводил бы к великому греху бесплодия.

– Идея добродетели, – сказал Философ, начиная волноваться, – вдохновляла благороднейшие умы мира.

– Не вдохновляла, – возразил Пан. – Она гипнотизировала их, так что они начинали считать добродетель насилием, а самопожертвование – подвигом, а не самоубийством, каковым оно является.

– В самом деле? – сказал Философ. – Это очень интересно, и если это верно, то весь ход жизни придется весьма упростить.

– Жизнь уже очень проста; – сказал Пан, – родиться и умереть, а в промежутке есть и пить, танцевать и петь, жениться и завести детей.

– Но это же сущий материализм! – воскликнул Философ.

– Почему вы говорите "но"? – спросил Пан.

– Это же откровенный, неприкрытый материализм! – продолжал его гость.

– Это все, что вам угодно. – отвечал Пан.

– Вы не сможете ничего доказать! – вскричал Философ.

– То, что явлено чувствам, не нуждается в доказательствах.

– Вы уходите еще вот от чего, – сказал Философ. – Вы уходите от ума. Я верю в первенство ума над материей. Мысль превыше эмоции. Дух превыше плоти.

– Разумеется, вы в это верите. – сказал Пан и потянулся за своей тростниковой свирелью.

Философ выбежал из пещеры и оттолкнул Кейтилин.

– Пошла прочь! – яростно сказал он ей и бросился вон.

Поднимаясь по неровной тропе, он услышал флейту Пана, зовущую, плачущую и радующуюся под небесами.

Глава XI

– Она не заслуживает, чтобы ее спасли, – сказал Философ, – но я спасу ее. Именно, – подумал он через некоторое время, – она не хочет, чтобы ее спасли, и поэтому я спасу ее.

Философ шел по дороге, а красивое тело стояло у него перед глазами, простое и прекрасное, как древняя статуя. Философ сердито помотал головой, но видение не исчезало. Он попытался сосредоточить свой ум на глубокой философической максиме, но будоражащий образ Кейтилин вторгся между ним и его мыслью, развеивая последнюю так сильно, что, сформулировав афоризм, спустя мгновение Философ уже не смог вспомнить, о чем тот был. Такое состояние было столь необычно для Философа, что он впал в изумление.

– Так, значит, ум настолько нестойк, – сказал он, – что какое-то туловище, одушевленная геометрическая фигура, может напрочь сбить его с толку?

Эта мысль ужаснула его: он увидел, что цивилизация возводит свои храмы на вулкане...

– Пф-ф-ф, – сказал он, – и нет ее! Подо всем лежит хаос и багровая анархия, надо всем нависает всепоглощающее непрестанное желание. Наши глаза указывают нам, о чем нам думать, а наша мудрость – всего лишь каталог чувственных позывов!

Философ остался бы в состоянии глубокой удрученности, если бы от этого потрясения в нем не забурилась вдруг такая удивительная радость, какой он не помнил с детства. Годы свалились с его плеч. С каждым шагом он сбрасывал по фунту серьезности и солидности. Даже кожа его стала мягкой, нежной, и он обнаружил вдруг, что ему нравится шагать такими широкими шагами, о каких прежде ему и не думалось. Собственно, одна лишь только мысль и казалась ему неуместной, и вовсе не потому, что он не мог думать ни о чем – а потому, что ему не хотелось. Вся важность, вся властность его ума словно бы растаяли, и та деловитость, которая прежде была присуща этому органу, теперь передалась его глазам. Изумленный, он увидел солнечный свет, омывающий горы и доли. Птица на плетне заставила его остановиться – клюв; голова; глаза; лапы; и крылья, развернутые под углом к ветру. Впервые в своей жизни Философ по-настоящему увидел птицу; и через мгновение после того, как она улетела, он смог воспроизвести ее резкий, скрипучий крик. С каждым шагом вперед по извивающейся дороге окружающий пейзаж менялся – Философ смотрел и отмечал это, пребывая почти в экстазе. Островерхая гора наступала на дорогу; затем дорога терялась в траве луга на склоне, скатывалась в долину, а после легко и спокойно поднималась в гору опять. На одной стороне дороги

деревья в небольшой купе раскланивались друг с другом самым дружелюбным образом. Напротив них одинокое дерево, разросшееся и ровное, довольствовалось своим собственным обществом. Куст разостлался по земле, словно готовый в каждый миг по волшебному слову вскочить и с гиканьем и хохотом погнаться за кроликами по лужайке. Повсюду мощными потоками разливался солнечный свет, и били глубокие ключи теней; и первый не казался прекраснее других. О, этот солнечный свет! О слава его, доброта и сила! как вольно и величественно светил он, не зная границ, не зная труда; Философ видел безмерную щедрость его и славил его так, словно сам был частицей этого величия. А разве не был? Разве солнечный свет не струился с его головы и кончиков пальцев? Истинно, благодать, хранимая в нем, стремилась вырваться, рвалась в работу за пределы вселенной. Мысль – о, ничтожная! – но движение, чувство! они существовали взаправду. Ощущать, действовать, шагать вперед в восторге, распевая пеан торжествующей жизни!

Спустя некоторое время Философ проголодался и, сунув руку в свою суму, отломил кусок от одной из ковриг хлеба и огляделся вокруг в поисках места, где можно было бы спокойно съесть его. Возле дороги он нашел родник – попросту маленькую, обложенную камнями ямку, полную воды. Над ней возвышался большой камень, а вокруг, почти полностью скрывая ее от взоров, росли густые кусты. Философ и не заметил бы родника, если бы не тоненький ручеек шириной в две ладони, ковылявший от него через поле. У этого родника Философ присел и зачерпнул воду ладонями – вода оказалась приятной на вкус.

Он уже почти доел хлеб, когда слуха его достигли далекие шаги, и вскоре на тропе появилась женщина с кувшином в руке. Это была дородная миловидная женщина, и шла она, как человек, у которого нет ни неприятностей, ни дурных предчувствий. Увидев Философа, сидящего у родника, она на мгновение приостановилась, а затем подошла к нему с добродушной улыбкой.

– Доброе утро вам, сэр. – сказала она.

– И вам доброе утро, мэм, – отвечал Философ. – Садитесь рядом со мной, и отведайте моего хлеба.

– В самом деле, почему бы и нет, – сказала женщина и присела рядом с ним.

Философ отломил от каравая большой кусок, передал его женщине, и та попробовала его.

– Вкусно, – сказала она. – Кто его испек?

– Моя жена, – ответил он.

– Вот как! – сказала женщина, оглядев Философа. – Знаете, а вы совсем не похожи на женатого.

– Не похож? – удивился Философ.

– Ни капельки. Женатый мужчина выглядит улаженно и устроено: он выглядит законченным, если вы меня понимаете; а холостой выглядит неустроенным и смешным, и его вечно тянет бродить и высматривать что-то. Женатого от холостого я отличу завсегда.

– Как это? – спросил Философ.

– Очень просто, – ответила она, кивнув. – Все дело в том, как они смотрят на женщину. Женатый смотрит на тебя спокойно, как будто все про тебя знает. Для него в женщине вовсе нет ничего непонятного; а холостой смотрит на тебя пристально и отводит глаза, а потом смот-

рит снова, так что ты знаешь, что он думает о тебе, а сам не знает, что ты думаешь о нем; поэтому они всегда такие загадочные, и поэтому они нравятся женщинам.

– Как? – переспросил Философ, пораженный. – Неужели холостые больше нравятся женщинам, чем женатые?

– Ну конечно, больше! – горячо ответила женщина. – Женщина и не глянет на ту сторону дороги, где стоит женатый мужчина, если на другой стороне будет стоять холостой.

– Это очень интересно! – сказал Философ серьезно.

– А занятно то, – продолжила женщина, – что еще на дороге, едва я увидела вас, как сказала себе: "вон сидит холостяк". И давно вы женаты?

– Не знаю, – сказал Философ. – Должно быть, лет десять.

– И сколько у вас детей, сударь?

– Двое, – ответил Философ, и поправился. – Нет, у меня только один.

– Другой умер?

– У меня и был только один.

– Десять лет женаты, и всего один ребенок! – повторила женщина. – Нет, любезный, вы не женатый мужчина. Чем же вы занимались-то все это время? Не стану и рассказывать вам про всех моих детей, живых и мертвых. Но вот что я вам скажу: женаты вы там или нет, а все-таки вы холостяк. Я это поняла, как только вас увидела. А жена ваша – что она за женщина?

– Довольно тощая женщина, – сказал Философ, откусив еще кусок хлеба.

– Тощая?

– И причина того, что я заговорил с вами, – продолжал Философ, – в том, что вы – женщина толстая.

– Я не толстая! – был ее сердитый ответ.

– Толстая, – настоял Философ, – и поэтому-то вы понравились мне.

– А, ну, если вы в этом смысле... – женщина хихикнула.

– Я думаю, – продолжал Философ, с восторгом глядя на нее, – что женщина должна быть толстой.

– Сказать вам по правде, – подхватила женщина с чувством, – я и сама так думаю. Никогда не встречала тощей женщины без того, чтобы она оказалась стервой; и никогда не встречала толстого мужчины без того, чтоб он не оказался дураком. Толстая женщина и тощий мужчина; таково естество! – сказала она.

– Именно так, – сказал Философ, наклонился и поцеловал женщину в глаза.

– Нахал! – вскрикнула женщина, загородясь от него рукой.

Философ, удрученный, отодвинулся назад.

– Простите меня, – начал он, – если я потревожил вашу добродетель...

– Это слово женатого человека, – сказала она, быстро встав. – Теперь-то я вижу; но все

равно в вас очень много от холостяка; да поможет вам Господь! Пойду-ка я домой.

И, сказав так, она опустила свой кувшин в родник и отвернулась.

– Может быть, – предложил Философ, – мне подождать, пока вернется домой ваш муж, и попросить у него прощения за обиду, которую я ему причинил?

Женщина повернулась к нему, и глаза у нее стали круглые, как блюдца.

– Что? – переспросила она. – Только попробуй увяжись за мной – я спущу собак, честное слово!

И женщина зашагала домой.

После минутного раздумья Философ пошел своей тропой через холм.

День уже вполне разошелся, и пока Философ шел себе, счастливое спокойствие окружающей природы снова вошло в его сердце и окрасило встречу с женщиной в такие тона, что через короткое время она уже стала не более чем приятным и любопытным воспоминанием. Ум Философа снова был изрядно занят, но не мыслями, а думами о том, как это он вдруг сподобился поцеловать незнакомую женщину. Философ сказал себе, что так вести себя нельзя; но это утверждение было лишь плодом машинальной работы ума, изрядно натренированного к различению добра и зла, ибо почти в ту же секунду Философ убедил себя в том, что поступок его не имел ни малейшего значения. Добро и зло соприкасаются и сливаются друг с другом так тесно, что трудно разделить их, и поношения, обращенные к одному из них, кажутся несоизмеримыми с его весом, тогда как другое никоим образом не оправдывает тех восхвалений, которые ему возносят. Разве зло оказывает какое-либо мгновенное – а хоть бы и отдаленное – воздействие на жизнь, которое не было бы тут же уравновешено добром?

Но эти тонкие рассуждения волновали Философа недолго. Ему не хотелось погружаться в какие-либо самокопания. Достаточно было просто чувствовать себя хорошо. Почему мысль так неотделима от нас, так неотвязна? Мы не знаем о существовании какого-либо внутреннего органа, пока он не выходит из строя, и тогда это знание начинает мучить нас. Не должна ли деятельность здорового мозга быть такой же незаметной и такой же полноценной? Почему мы должны мыслить вслух и путешествовать от силлогизма к следствию, осторожничая с выводами и не доверяя посылкам? Мысль, как мы ее знаем, – ведь это болезнь, не более того. Здоровый ум должен сообщать суждения, а не свою работу. Нашего слуха не должен касаться его сомнения; мы не обязаны выслушивать все его "за" и "против", в которых мы вечно теряемся и путаемся.

Дорога лентой вилась по горам. По обеим ее сторонам тянулись кусты и заросли – не большие тугие деревца, державшие всю свою листву в руках и предлагавшие ветру попробовать вырвать из их цепкой хватки хоть один листок. Холмы вздымались и опадали, раскрываясь и дыбась повсюду, куда хватало глаз. Тишину теперь прерывало журчание ручья. Где-то вдали мычала корова, долго, монотонно и протяжно; а то из ниоткуда в никуда проносилось блеяние козы. Но большую часть времени стояла тишина, звеневшая мириадами маленьких крылатых жизней. Поднимаясь на гору, Философ наклонялся вперед, энергично топая ногами и пыхтя, будто бык, от прилива жизненных сил. Спускаясь под гору, он отклонялся назад и позволял своим ногам делать все, что им заблагорассудится. Разве они не знали, что надо делать? – удачи им, и вперед!

На дороге Философ увидел старуху, что ковыляла впереди. Она опиралась на палку, и руки у нее были красные, распухшие от подагры. Хромала старуха по той причине, что в ее

бесформенные тапки попали камешки. Одета она была в жалчайшее тряпье, какое только можно вообразить, и тряпки были связаны такими хитрыми узлами, что, будучи однажды надето на нее, ее одеяние уже не могло быть с нее снято. На ходу старуха ворчала и бормотала себе под нос, и губы ее ходили ходуном, словно были из каучука.

Философ вскоре нагнал ее.

– Доброе утро, мэм, – сказал он.

Но она не услышала: похоже, она прислушивалась только к боли в ногах из-за камешков.

– Доброе утро, мэм, – сказал Философ снова.

На этот раз она услышала его и ответила, медленно обратив к нему свои старушечьи выцветшие глаза:

– И вам доброе утро, сэр, – сказала она, и Философ подумал, что лицо у нее, пожалуй, доброе.

– Что такое случилось с вами, мэм? – спросил Философ.

– Да это боты мои, сэр, – ответила она. – Полно камней в них, я уж просто еле хожу, Господи, помоги мне!

– А почему бы вам их не вытряхнуть?

– Ах, сэр, да вот в чем дело – стоит ли беспокоиться, ведь в них столько дыр, что не пройти мне и двух шагов, как камни набьются снова, а старуха не может все время кланяться, Господь ей помоги!

Возле дороги стоял маленький домик, и, увидев его, старуха немного просветлела.

– Ты знаешь, кто живет в этом доме? – спросил Философ.

– Нет, – ответила она, – но дом красивый, окна чистые, колокольчик на двери блестит, и из трубы идет дым – неужели же хозяйка не даст мне чашечку чая, если я ее попрошу – старухе-то, что ковыляет по дороге с палкой! – а может быть, и кусочек мяса или яичко...

– Спроси, – предложил Философ мягко.

– Да и спрошу, – сказала она и присела на дорогу напротив дома, и Философ тоже присел рядом.

Из-за дома вышел маленький щенок и осторожно подошел к ним. Намерения у него были дружелюбные, но он уже знал, что на дружеские действия ответ иногда бывает совсем другой, потому что, подойдя поближе, он поджал свой куцый хвостик и униженно распластался по земле. Но очень скоро песик понял, что ничего плохого ему не сделают: он подошел к старухе и безо всяких предупреждений запрыгнул ей на колени.

Старуха заулыбалась:

– Ах ты, чертяка! – сказала она и дала ему прихватить зубами свой палец. Щенок в восторге начал жевать ее костлявый палец, а потом устроил потешную схватку с обрывком тряпки, свисавшим с ее груди, лая и урча от радостного возбуждения, пока старуха гладила и трепала его.

Дверь дома распахнулась, и из нее вышла женщина с красным обветренным лицом.

– Поставь на место собаку! – сказала она.

Старуха смущенно улыбнулась ей.

– Что вы, мэм, я ничего ему не сделаю, чертяке такому!

– Отпусти собаку, – сказала женщина, – и топай восвояси! Тюрьма по вам всем плачет!

Из-за женщины появился мужчина в безрукавке, и ему старуха улыбнулась еще более смущенно.

– Дозвольте посидеть тут немного и поиграть с собачкой, сэр, – попросила она, – так, знаете, одиноко в дороге...

Мужчина подошел и взял щенка за шкурку. Щенок повис у него в пальцах, поджав хвост между ног, и глаза его вылезли из орбит.

– Пошла отсюда, рвань старая! – сказал мужчина страшным голосом. Старуха с трудом снова поднялась на ноги и заплакала, заковыляв дальше по пыльной дороге.

Поднялся также и Философ; он был очень расстроен, но не знал, что делать. Невероятная усталость также удержала его от вмешательства. Они шли по дороге, и спутница его стала причитать, больше про себя, чем для него:

– Ох, Господи помилуй, – бормотала она, – старуха, старуха на палке, и нету у нее во всем мире ни уголка, ни соседushки... Чаю бы чашечку, вот чего. Господи, чашечку бы чаю... Сидела бы я в своем домике, на столе белая скатерть, на блюдечке масло, и в чашке чай – красный, крепкий; и я наливаю в него сливки и, должно быть, говорю детям, чтобы не клали столько сахара, черти! а мой говорит, что нынче ему косить большой луг, или что рыжая корова собралась отелиться, бедняжка, и что, если дети пойдут в школу, то кто же будет пропалывать редиску – а я сижу, пью свой крепкий чай и рассказываю ему, куда пеструшка кладет яйца... Ох, помоги Господи! ковыляет по дороге старуха на палке... Ах, быть бы мне снова девкой, и мой бы за мной ухлестывал, и говорил, что я такая милая девушка, и что не будет ему ни покою, ни счастья, пока я не полюблю его... Ах, добрый человек мой был, вот уж что да, то да, достойный, добрый человек... И Сорка Рейли хочет у меня его отбить, и Кейт Финнеган пялится на него в церкви своими наглыми глазищами; а он говорит, что рядом со мной они просто две драные козы... А потом мы поженились и пошли вместе домой, в мой маленький домик, с муженьком моим, мужем – ох, Господи спаси и сохрани! и он целует меня, и смеется, и я боюсь того, что потом... Ах, добрый человек, глаза добрые, голос приятный, шутит, смеется и бережет меня, как зеницу ока... И соседи бы приходили к нам, усаживались по вечерам у огня, судачили обо всем, что творится в мире, про Францию, про Россию и другие разные дальние страны, и мой говорит, как ученый человек, а они все слушают его и кивают друг другу головами, дивятся, какой он образованный, и вообще; а может быть, соседи поют, или мой просит меня спеть «Кулин», и так уж он гордится мной... Ох, а потом-то, потом убьют мне его, и холодна его грудь... Ой, Боже ты мой, одна-одинешенька старая с палкой, а солнце светит прямо в глаза, и пить ей хочется – чаю бы чашечку вот бы, эх! Господи, чашечку бы чаю, да кусочек мяса... или яичко. Хорошенькое свеженькое яичко от пеструшки, сколько ж я с ней намаялась, с чертовкой!.. Шестнадцать куриц было у меня, и как же неслись они!.. Ужасный мир, вот уж правда, ужасный мир, и никакого-то смысла нету в нем ни у чего... Господи, помоги мне! Хоть бы не эти камни в ботах, Господи; да чашечку чаю, да свеженькое яичко. Ох, славен будь! ноги мои старые устают с каждым днем все больше, все больше устают. Помню, когда-то – мой еще был – могла весь день-деньской по дому бегать, прибираться, намыывать да чистить, да свинок покормить, да кур, да всех, а потом еще плясать могла всю ночь до утра; и

мой так мною гордился...

Старуха свернула на дорожку поуже, продолжая разговаривать сама с собой, и Философ долго оглядывался ей вслед. Он был очень рад, что она ушла, и, продолжив свой путь, он быстро забыл ее и в короткое время снова сделался счастливым. Солнце продолжало светить, птицы порхали там и сям, и широкие склоны холмов весело улыбались ему.

Дорогу его пересекала под прямым углом узкая колея, и выйдя к перекрестку, Философ услышал шум и гам, топот ног, скрип колес и несмолкающий гомон голосов. Через несколько минут он поравнялся с этой дорожкой и увидел осла и телегу, нагруженную горшками и сковородками, а рядом с телегой шли двое мужчин и женщина. Мужчины и женщина громко разговаривали, даже ожесточенно спорили, а осел тянул телегу по дороге, не нуждаясь в постоянном управлении или помощи. Пока перед ним была дорога, он шел по ней; там, где на дороге был перекресток, он поворачивал направо; когда мужчина говорил «Тпру!», он останавливался, если тот говорил «Осади!», осел пятился назад, а когда мужчина командовал «Н-но!», шел снова. Такова была жизнь, и тот, кто начинал с ней спорить, получал палкой, или сапогом, или камнем: но если идти и идти себе, как шел, то ничего подобного не случалось, и в этом было счастье.

Философ поприветствовал всю кавалькаду:

– Господь с вами, – сказал он.

– Господь и святая Мария с вами, – ответил первый мужчина.

– Господь, святая Мария и святой Патрик с вами, – отозвался другой.

– Господь, святая Мария, святой Патрик и святая Бригид с вами, – сказала женщина.

Осел же не сказал ничего. Поскольку в разговоре не прозвучало "тпру!", он решил, что это не его дело, и, свернув направо на новую дорогу, продолжил свой путь.

– Куда идешь, путник? – спросил первый мужчина.

– Я иду навестить Ангуса Óга, – ответил Философ.

Мужчина бросил на него быстрый взгляд.

– Вон как! – сказал он. – В жизни не слышал ничего страннее этого. Слышали? – повернулся он к остальным. – Этот человек ищет Ангуса Óга!

Другой мужчина и женщина подошли поближе.

– А зачем тебе Ангус Óг, господин хороший? – спросила женщина.

– О, – ответил Философ, – тут особый вопрос. Семейное дело.

Некоторое время все молча шагали за ослом и телегой.

– А откуда ты знаешь, где его искать? – спросил снова первый мужчина. – Может, ты вычитал, где он живет, в старой книге или на резном камне?

– Или ты нашел в болоте посох Амергина или Оссиана, исписанный сверху донизу древними знаками? – спросил другой мужчина.

– Нет, – ответил Философ, – к богу ходят не так. Надо просто выйти из дома и идти, не сворачивая, в любую сторону, чтобы тень была сзади, пока не упруешься в гору, потому что

боги не живут в долинах или на равнине, а только на высотах; а тогда, если бог хочет, чтобы ты его увидел, ты подойдешь к его рату¹² так близко, что уж узнаешь, где он, потому что он поведет тебя воздушной нитью, протянувшейся от него до тебя, где бы ты ни был. А если он не хочет тебя видеть, то никогда ты не найдешь, где он, ищи хоть год, хоть двадцать лет.

– А с чего ты взял, что он хочет тебя видеть? – спросил другой мужчина.

– Почему бы ему не захотеть? – ответил Философ.

– Должно быть, господин хороший, – сказала женщина, – ты святой человек и богу нравишься.

– С какой стати? – ответил Философ. – Боги любят человека, неважно, святой ли он, или нет, лишь бы он был порядочным.

– Ну, таких-то много. – сказал первый мужчина. – А что у тебя там в суме, путник?

– Ничего, – ответил Философ. – кроме полутора хлебов, испеченных для моего путешествия.

– А дай-ка мне кусочек, господин хороший, – попросила женщина. – Люблю я пробовать у всех встречающих.

– Дам, и с охотой. – ответил Философ.

– Тогда дай уж и нам, раз ты все равно туда лезешь, – сказал второй мужчина. – Не одна она голодная во всем мире.

– Почему нет? – сказал Философ и разделил хлеб.

– Здесь есть вода, – сказал первый мужчина, – неплохо будет запить хлеб. Тпру, стой, дьявол! – проревел он ослу, и тот замер, как вкопанный.

Вдоль дороги у ограды росла тощая полоска травы, и осел начал подбираться к ней, очень медленно и аккуратно.

– Осади, чертова зверюга! – крикнул человек, и осел подал назад, но сделал это таким образом, что оказался ближе к траве. Первый мужчина снял с телеги жестянку и перелез через стену за водой. Перед тем он трижды щелкнул осла по носу, но осел не сказал ничего, только еще немного попятился, отчего попал точно на траву, и когда человек полез на стену, осел принялся пастись.

На нагретом солнцем камне в траве сидел паук. У него было маленькое тельце и длинные ноги, и он не был занят ничем.

– А тебя кто-нибудь когда-нибудь бил по носу? – спросил его осел.

– Да сколько угодно, – ответил паук. – Ты и такие, как ты, вечно наступают на меня, или ложатся на меня, или переезжают меня тележными колесами.

– Тогда почему бы тебе не остаться на стене? – спросил осел.

– Понимаешь ли, там моя жена. – ответил паук.

– А что в этом плохого? – спросил осел.

12 Ирл. “крепость, городище”.

– Она меня съест, – объяснил паук. – Да и кроме того, там на стене таких, как я, много, а мухи с каждым годом делаются все умнее и хитрее. А у тебя есть жена?

– Нету. – ответил осел. – А хотелось бы.

– Сперва твоя жена тебе нравится, – сказал паук, – а потом ты ее ненавидишь.

– Мне бы вот это "сперва", а там я бы уж разобрался с "потом", – сказал осел.

– Это речи неженатого, – сказал паук. – Да только все равно ведь никак без них. – И с этими словами он всеми своими ногами двинулся в сторону стены. – Двум смертям не бывать, – сказал он.

– А вот была бы твоя жена ослица, она бы тебя не съела. – сказал осел.

– Ну, что-нибудь другое бы придумала, – ответил паук, поднимаясь на стену.

Первый мужчина вернулся с водой, и они присели на траву, съели хлеб и выпили воду. Все это время женщина не сводила с Философа глаз.

– Господин хороший, – сказала она, – я вот тут подумала: вовремя же ты нас встретил.

Двое других мужчин тотчас же выпрямились и поглядели друг на друга, а потом с тем же выражением на женщину.

– Почему ты так говоришь? – спросил Философ.

– У нас тут по дороге вышел большой спор, и спорь мы хоть отсюда до Страшного суда, спор наш не разрешился бы.

– Должно быть, это важное дело. Спорили ли вы о предопределении или о том, откуда происходит сознание?

– Да нет; мы спорили о том, кто из этих двух мужчин женится на мне.

– Ну, это не серьезный вопрос. – сказал Философ.

– Разве? – сказала женщина. – Семь дней и шесть ночей мы не говорим ни о чем другом; и это серьезный вопрос, или я уж вовсе не знаю, какой же вопрос тогда серьезный.

– А в чем трудность, мэм? – спросил Философ.

– Да в том, – ответила она, – что мне никак не решиться, кого из них взять себе в мужья; каждый из них нравится мне так же, как и другой, и даже больше, и любого из них я взяла бы себе в мужья с такой же охотой, как и другого, и даже с большей.

– Сложное дело, – сказал Философ.

– Верно, – сказала женщина, – и надоело оно мне уже до головной боли.

– А почему ты говоришь, что я вовремя встретился с вами?

– Потому, господин хороший, что когда женщина выбирает из двух мужчин, то она не знает, что ей делать, потому что двое мужчин всегда делаются, как братья, и никак не скажешь, кто из них кто; разницы между двумя мужчинами меньше, чем между двумя крольчатами. А выбирать из троих мужчин нет никакой трудности; потому-то я и говорю, что этой ночью я возьму себе в мужья тебя и никого другого – а вы двое сидите-ка тихо на месте, потому что, говорю вам, как я решила, так и сделаю, и довольна об этом.

– Честное слово, – сказал первый мужчина, – я рад не меньше твоего, что мы покончили с этим.

– И меня замучил этот спор, – сказал другой. – То так, то сяк, то еще как, а ты ни слова толком не можешь сказать – то "может, выйду", то "может, нет", и то – правда, и сё – правда, то "почему бы не за тебя", то "почему бы не за него" – ну, да уж этой-то ночью я наконец засну спокойно.

Философ встревожился.

– Вы не можете выйти за меня замуж, мэм, – сказал он, – потому что я уже женат.

Женщина сердито повернулась к нему:

– Ты давай-ка не спорь со мной! – сказала она. – Я этого не выношу.

Первый мужчина злобно поглядел на Философа и кивнул своему спутнику:

– Сунь-ка ему в челюсть. – попросил он.

Другой мужчина уже готовился сделать это, но женщина вмешалась:

– Уберите руки, эй вы, – сказала она, – а не то хуже будет! Со своим мужем я сама разберусь, – и с этими словами она подвинулась ближе и села между Философом и мужчинами.

Тут хлеб Философа вдруг утратил весь свой вкус, и он убрал то, что от него осталось, в суму.

Они сидели молча, глядя себе в ноги и думая каждый о том, к чему располагала его природа. Ум Философа, который весь этот день был в затмении, силился повернуться лицом к этим новым обстоятельствам, но без особого успеха. В сердце его гнездилась дрожь, пугающая, но не неприятная. В его душе всё крепло предчувствие чего-то неясного, разгонявшее его пульс. Кровь его бежала так быстро, так быстро мелькали сотни образов, увиденных и запечатленных, так сильно волновалась поверхность его ума, что он даже не осознавал, что не способен думать, а может лишь смотреть и чувствовать.

Первый мужчина поднялся.

– Скоро ночь, – сказал он, – и лучше нам двинуться в путь, если мы хотим найти приличное место для ночлега. Н-но, черт! – крикнул он ослу, и осел тронулся в путь чуть ли не прежде, чем поднял голову от травы. Двое мужчин пошли по обеим сторонам тележки, а женщина и Философ шли за ней.

– Если ты устал, господин хороший, – предложила женщина, – то садись в тележку, и никто не скажет тебе ни слова; ведь ты, я вижу, не привычен к путешествиям.

– Вправду, непривычен, – согласился Философ. – Это вообще первый раз, что я пустился в путешествие, и если бы не Ангус Óг, я в жизни шагу не ступил бы из своего дома.

– Выбрось Ангуса Óга из головы, дорогой. – сказала женщина, – Ну что у таких людей, как ты и я, найдется сказать богу? Ещё наложит на нас проклятие, которое вгонит нас в землю или спалит, как пук соломы. Брось, говорю тебе, потому что если и есть на свете женщина, которая знает всё, то это я, и если ты расскажешь мне, что тебя заботит, то я скажу тебе, что делать – и не хуже, чем Ангус Óг, когда не лучше.

– Это очень интересно. – сказал Философ. – И что ты знаешь лучше всего?

– Если бы ты спросил одного из этих двух мужчин, что идут за ослом, они бы рассказали тебе о многом, что я делала для них, когда они ничего не могли сделать сами. Когда не было пути ни в одну сторону, я показывала им дорогу, и когда не было ни крошки еды, я кормила их, а когда они продулись до нитки, я сунула им в руки по шиллингу – потому-то они и захотели жениться на мне.

– Ты называешь все эти вещи мудростью? – спросил Философ.

– Отчего же нет? – ответила она. – Разве это не мудрость – идти по миру без страха и не голодать в голодный час?

– Пожалуй, мудрость, – ответил Философ, – но я никогда не думал об этом так.

– А что называешь мудростью ты?

– Сейчас я, пожалуй, не смог бы сказать точно, – ответил Философ, – но я думаю, что мудрость это – не думать о мире, не заботиться, голоден ты или нет, и вообще жить в не мире, но в своем собственном уме, потому что мир – жестокое место. Надо возвышаться над вещами, а не позволять вещам возвыситься над тобой. Нельзя быть рабом у другого, и нельзя быть рабом у своей необходимости. В этом проблема существования. Жизнь напрочь лишена величия, если голод может кричать тебе «ни с места!» на каждом шагу, а дневной путь измеряется расстоянием от одного сна до другого. Жизнь – это рабство, и Природа гонит нас хлыстами голода и усталости; но восставший раб – больше не раб, а если голод правит жизнью, можно умереть и посмеяться над ним. Я верю, что природа такая же живая, как и мы, и что она боится нас так же, как мы ее, и нельзя упускать из виду, что род человеческий объявил Природе войну, и мы ее победим. Она еще не понимает, что ее геологические периоды уже не считаются, и что пока она лодырничает на линии наименьшего сопротивления, мы будем предпринимать стремительные дальние вылазки, пока не найдем ее, а тогда она сдастся нам, потому что она женской породы.

– Хорошо сказано, – сказала женщина, – да только это глупость. Женщина никогда не сдастся, пока не получит все, чего хотела, а тогда что ей с того? Жить в мире, дорогой мой, приходится, хочешь ты или нет, и поверь мне, что нет другой мудрости, кроме как держаться подальше от голода, потому что если подпустишь его близко, он сделает из тебя зайца. А теперь послушайся рассудка, как подобает мужчине. Что такое Природа вообще, если не слово, которое ученые люди придумали, чтобы рассуждать о нем? Есть глина, есть боги и есть люди, и все они – вполне себе добрые друзья.

Тем временем солнце уже давно закатилось, и над землей клонился сизый вечер, скрывая горные вершины и окутывая тенью кусты и поросли вереска.

– Я знаю тут неподалеку место, где мы можем заночевать, – сказала женщина, – а там за поворотом есть маленький шибин¹³, где мы найдем все, что нам нужно.

По команде «Тпру!» осел остановился, и один из мужчин снял с него упряжь. Распряженному ослу он дал пару пинков:

– Вали отсюда, старый черт! найди себе чего-нибудь пожрать. – проревел он.

Осел отошел на несколько шагов и поискал вокруг себя, пока не нашел кое-какую траву. Он пощипал ее, а наевшись, вернулся и лег под стеной. Долгое время он лежал, глядя в одну сторону, а потом наконец опустил голову и отошел ко сну. Во сне он держал одно ухо вверх, а

другое вниз, и каждые двадцать минут опускал одно ухо, а другое поднимал, и так всю ночь. Если бы ему было что терять, можно было бы понять, зачем он так бережется; но у осла не было ровным счетом ничего, кроме собственной шкуры и костей, а на них не позарился бы никто.

Один из мужчин вынул из телеги длинную бутылку и пошел с нею дальше по дороге. Другой взял жестяное ведро, повсюду пробитое дырочками, сунул в него несколько сучьев и кусков торфа, и через несколько минут развел в нем неплохой огонь. На него поставили кипятиться котелок с водой, и женщина нарезала большой кусок ветчины и сложила его в котел. В телеге у нее нашлось восемь яиц, лепешка хлеба, немного холодной вареной картошки, и она, расстелив свой передник на земле, стала накрывать на стол.

Тут другой мужчина вернулся по дороге с бутылкой, полной портера, и поставил ее в безопасное место. Потом они сняли все с телеги и приперли ее к стене. Поставив телегу набок, они подтащили ее к огню, сели под телегу и поужинали. Покончив с ужином, они закурили трубки, и женщина тоже разожгла себе трубку. Достали бутылку портера и стали передавать ее по кругу, курить трубки и разговаривать.

Луны в ту ночь не было, и не было звезд, поэтому за костром простиралась непроглядная тьма, в которую не хотелось смотреть, такая она была холодная и пустая. Разговаривая, все смотрели в огонь или на дым, что вился из трубок клубами и завитушками, а потом исчезал внезапно, как молния.

– Интересно, – сказал первый мужчина, – с чего это тебе в голову взбрело выйти замуж за него, а не за меня или вот за моего товарища? Ведь мы молодые, крепкие парни, а он уже старик, Господь ему помоги!

– Вот именно, – добавил второй мужчина. – Он же стар, как барсук. Кожа да кости!

– Вы имеете право спросить об этом, – ответила женщина, – и я расскажу вам, почему я не вышла замуж ни за одного из вас. Вы – просто два лудильщика, что бродят с места на место, и ничего вы не смыслите в тонких материях; а он шел по дороге в поисках бог весть каких высоких приключений, а за такого человека женщина всегда мечтает выйти, будь он хоть вдвое старше ее. Кто из вас двоих может среди бела дня отправиться искать бога, не раздумывая ни о том, что может случиться с ним, ни о том, в какую сторону идти?

– Что я лично думаю, так это то, – сказал второй мужчина, – что если оставить богов в покое, то и они тебя оставят в покое. Они сами прекрасно справятся со своими надобностями, и что за нужда таким людям, как мы, вмешиваться и вступать в их высокие дела?

– Я всю дорогу думала, что ты человек недалекий, – сказала женщина, – а теперь я это знаю. – Женщина повернулась к Философу. – Разувайся, господин хороший, так ты лучше отдохнешь, а я постелю тебе удобную постель в телеге.

Чтобы снять ботинки, Философу пришлось встать, потому что под телегой места было маловато. Он сделал шаг назад от огня и снял ботинки. Он видел, как женщина расстилает мешки и одежду, а мужчины молча курят и передают друг другу большую бутылку. Потом, в одних носках, на цыпочках, он отошел от огня еще чуть дальше и, оглянувшись напоследок, повернулся и тихо ушел в темноту. Через несколько минут он услышал за собой окрик, потом много крика, потом крики перешли в огорченный ропот голосов, а потом Философ остался один в самой темной тьме, какую только встречал в своей жизни.

Он обул ботинки и пошел дальше. Где дорога, он не имел ни малейшего представления,

и то и дело спотыкался о вереск или колючий дрок. Земля была очень неровная, с неожиданными буграми и глубокими канавами; то и дело попадались мокрые бочажины, и в эти холодные ямы он проваливался по лодыжки. Ни земли, ни неба больше не было, а была только черная пустота, слабый ветер и оглушительная тишина, которая, казалось, прислушивается к его шагам. В любое мгновение из этой тишины мог раздаться громopodobный хохот, и вдруг оборваться, а Философ стоял бы, побледнев, в слепой пустоте.

Склон становился все круче, и под ноги постоянно попадались камни. Философ не видел и на дюйм вперед, и поэтому выставил вперед руки, как слепой, мучительно пробирающийся на ощупь. Через некоторое время он совсем изнемог от холода и усталости, но не решился присесть где-нибудь; темнота была такой плотной, что пугала его, и ошеломляющая, могучая тишина тоже его пугала.

Наконец вдалеке он различил покачивающийся мерцающий свет, и пошел к нему напрямик через верески, камнеломы и мокрые болотины. Выйдя к свету, Философ увидел, что это факел из толстых веток, пламя которого колеблется на ветру. Факел был укреплен на большом гранитном выступе железной скобой. Сбоку от него в скале виднелся черный проем, и Философ, сказав:

– Войду внутрь и посплю там до утра, – вошел в него.

Почти сразу проход свернул вправо, и там был укреплен еще один факел. Завернув за угол, Философ на мгновение застыл в немом восторге, а затем прикрыл лицо и склонился до земли.

Книга III. Два бога

Глава XII

Кейтилин Ни Мурраху сидела одна в маленькой пещере за Гортом-на-Клока-Мора. Ее компаньон ушел по своему обыкновению погулять солнечным утром и поиграть на своей свирели в безлюдных зеленях, где, быть может, его блуждающие мечты внимали манящей их сладости.

Кейтилин сидела и размышляла. Прошедшие дни пробудили ее тело, но пробудили также и ее ум, потому что одно пробуждение следует за другим. Печаль, что навещала ее прежде, когда она ходила за скотиной своего отца, вернулась к Кейтилин, но теперь она уже знала эту печаль. Теперь она знала, о чем нашептывает ей ветер на луговом склоне холма, и чему у нее не было прежде имени; это было Счастье. Оно проступало на свет перед ней, но еще не было видно. Это был лишь жемчужно-перламутровый призрак, почти бестелесный, слишком легкий, чтобы коснуться его руками, и слишком тонкий, чтобы о нем говорить. Пан назвался ей дарителем счастья, но дал он ей лишь непокой, волнение и неутолимое томление. Снова Кейтилин чувствовала жажду и не могла ни высказать ее, ни хотя бы распознать ее сколько-нибудь точно. Ее новорожденная Мысль обещала ей все, что угодно, как и Пан, а дала – Кейтилин не могла даже понять, дала ли она ей что-то или же не дала ничего. Грань между этим и тем было слишком трудно найти. Она нашла Древо Познания, но со всех сторон вокруг него высилась черная стена, скрывая от нее Древо Жизни – стена, которую не могла преодолеть ее мысль, хотя инстинкт и шептал, что стена эта обрушится перед нею; но инстинкт не может ничего, когда мысль вышколила его в науке неверия; и стену эту не одолеть, пока не обвенчаются Мысль и Инстинкт, и первенец от этого союза будет назван Победителем Стены.

Так, после покойного томления неведения постигло Кейтилин беспокойное томление мысли – терзания ума, который на протяжении бесчисленных поколений корчится в муках, рождая экстаз – пророчество, которое человечество поклялось исполнить, прозревая сквозь всевозможные пелены и сомнения видение веселья, в котором невинность нашего утра не будет больше чужда нашей зрелости.

Пока она размышляла обо всем этом, вернулся Пан, немного разочарованный тем, что не нашел никого, кто послушал бы его игру. Она было усадила его рядом с собой, но снаружи вдруг раздался громкий хор поющих птиц. Переливистые каденции, певучие флейты, сладостные трели детства сошлись и заиграли, затанцевали повсюду вокруг. Округлая, мягкая нежность песни поднималась и опадала, ширилась и наполнилась и, поднявшись до предела, на миг прерывалась и рождалась снова, еще более нежная и прекрасная в своей утонченности, пока проникновенная эта мелодия исподволь не превращалась в верх сладости, круто опускаясь и радостно возвращаясь на миг к восторгам ее товарищей внизу, раскатываясь экстазом пения, которое в один миг радовало весь мир и всех грустных людей, что ходят по нему; а затем пение прервалось так же внезапно, как началось, проход закрыла быстрая тень, и в пещеру вошел Ангус Óг.

Кейтилин испуганно вскочила со своего места, и Пан тоже сделал движение, чтобы подняться, но тотчас же снова сел в своей небрежной, вольной позе.

Бог был строен и скор в движениях, как ветер. Волосы обрамляли его лицо золотыми цветами. Глаза у него были мягкие и танцующие, а губы улыбались тихой сладостью. Вокруг

его головы вечно кружилось кольцо поющих птичек, и когда он говорил, голос его раздавался сладостно из самого средоточия сладости.

– Здоровья тебе, дочь Мурраху, – сказал он и сел.

– Я вас не знаю, сэр, – прошептала напуганная девушка.

– Меня нельзя знать, пока я не дам себя знать, – ответил он. – Меня зовут Беспредельной Радостью, о дочь Мурраху, и меня зовут Любовь.

Девушка в сомнении переводила взгляд с одного на другого.

Пан поднял голову от свирели:

– И меня зовут Любовь, – сказал он тихо, – и меня зовут Радостью.

Ангус Óг впервые обратился к Пану.

– Певец Лозы, – сказал он, – я знаю твои имена – это Желание, Жажда, Похоть и Смерть. Зачем ты тайно пришел из своих краев на мои пастбища и мирные поля?

Пан спокойно ответил:

– Смертными богами движет Бессмертная Воля, и потому я здесь.

– И я здесь. – сказал Ангус.

– Дай мне знак, что я должен уйти, – сказал Пан.

Ангус Óг поднял руку, и снаружи раздалась торжествующая музыка птиц.

– Вот знак, – сказал он, – голос Даны в воздухе. – И с этими словами он поклонился великой матери.

Пан поднял руку, и издалека донеслось блеяние скотины и тонкие голоса коз.

– Вот знак, – сказал он, – голос Деметры от земли. – И он тоже низко поклонился матери мира.

Снова Ангус Óг поднял руку, и в ней появилось копье, яркое и очень страшное.

Но Пан лишь сказал:

– Может ли копье угадать Вечную Волю? – и Ангус Óг убрал оружие. Он сказал:

– Девушка выберет между нами, потому что Чувство Божественного светится в сердце человека.

Тогда Кейтилин Ни Мурраху поднялась и села между богами, но Пан протянул руку и притянул ее к себе, так что она прильнула к нему, а он обхватил ее рукой.

– Мы скажем этой девушке истину. – сказал Ангус Óг.

– Разве боги могут говорить что-то другое? – спросил Пан и весело рассмеялся.

– Между нами есть разница. – ответил Ангус Óг. – Ей судить.

– Пастушка, – обратился к ней Пан, прижав к себе рукой, – ты рассудишь нас. Знаешь ли ты, что важнее всего на свете – потому что тебе придется судить именно об этом?

– Я слышала, – отвечала девушка, – что две вещи считаются важнее всех. Ты, – она по-

вернулась к Пану, – говорил, что это Голод, а мой отец давным-давно сказал, что важнее всего на свете – Здравый Смысл.

– Я не говорил тебе, – сказал Ангус Óг, – что я считаю самым важным на свете.

– У тебя есть право сказать. – сказал Пан.

– Самое важное на свете, – сказал Ангус Óг, – это Божественное Воображение.

– Теперь, – сказал Пан, – мы знаем все важные вещи, и можем говорить о них.

– Дочь Мурраху – продолжил Ангус Óг, – сказала нам, что думаешь ты, и что думает ее отец; но она не сказала, что думает она сама. Скажи нам, Кейтилин Ни Мурраху, что ты считаешь самым важным на свете?

Кейтилин Ни Мурраху пришлось подумать некоторое время, а потом она тихо ответила:

– Я думаю, что важнее всего на свете Счастье.

Услышав это, оба бога на время умолкли, а потом Ангус Óг заговорил снова:

– Божественное Воображение можно познать только через мысли Его созданий. Мужчина сказал: Здравый Смысл, а женщина сказала: Счастье – самые важные вещи на свете. Эти вещи – мужчина и женщина, потому что Здравый Смысл – это Мысль, а Счастье – это Чувство, и пока они не сольются в объятиях Любви, воля Необъятного не принесет плодов. Ибо, смотри: брака в человечестве с начала времен еще не было. Мужчина живет лишь со своей собственной тенью. Он преследует желание, родившееся в его голове, и ни один мужчина доныне еще не познал любви женщины. А женщина соединяется с тенью своего сердца, с гордостью думая, что она – в объятиях мужчины. Я видел, как мой сын танцевал с Идеей, и спросил его: «С чем ты танцуешь, сын мой?», а он ответил: «Я веселюсь с женою любви моей»; и действительно – образ ее был образом женщины, но все же он танцевал не с женщиной, а лишь с Идеей. А потом он вернулся к своим трудам, и тогда его Идея поднялась, и на нее нашла ее человечность, так, что она облачилась в красоту и страх, и ушла и танцевала со слугой моего сына, и была в этом танце великая радость – потому что тот, кто находится не на своем месте, есть лишь Идея, а не человек. Мужчина – это Мысль, а женщина – Чувство, и они никогда еще не обручались. Между ними лежит пролив, который зовется Страхом, и боятся они именно того, что их сила отнимется от них, и они не смогут больше быть тиранами. Вечный создал любовь слепой, ибо не наукой, но одним лишь чутьем человек может придти к своей любви; желание же, которое есть наука, имеет много глаз и так дальнорозко, что человек проходит лицом к лицу мимо своей любви, повторяя, что любви на свете нет, и жалуется на свои собственные обманы. Простаков направляет сам Бог, но дьявол глядит глазами всех существ, и оттого они блуждают среди ошибок разума, всеми словами отрекаясь от этих блужданий. Желанием мужчины должна быть Красота, но он в своем уме разodel рабыню и назвал ее Добродетелью. Желанием женщины должна быть Мудрость, но она в своей крови создала зверя и назвала его Храбростью; а настоящая добродетель есть храбрость, настоящая храбрость есть свобода, а настоящая свобода есть мудрость, а Мудрость – дочь Мысли и Чутья; и ее имена также – Невинность, Восторг и Счастье.

Сказав эти слова, Ангус Óг умолк, и в пещере некоторое время было тихо. Кейтилин закрыла лицо ладонями и не хотела смотреть на Пана, но тот притянул девушку к себе и отвернулся в сторону, посмеиваясь над Ангусом.

– Пришло ли уже время девушке судить нас? – спросил он.

– Дочь Мурраху, – сказал Ангус Óг, – пойдешь ли ты со мною отсюда?

Кейтилин взглянула на бога в сильном беспокойстве.

– Я не знаю, что делать, – сказала она. – Зачем я вам обоим? Я отдалась Пану, и его руки обнимают меня.

– Ты нужна мне, – сказал Ангус Óг, – потому что мир забыл меня. Во всем моем народе не осталось памяти обо мне. Одинок брожу я по холмам моей страны, одинок мне. Я – забытый бог; я не могу смеяться моим счастливым смехом. Я скрываю серебро моих речей и золото моего веселья. Я живу в расщелинах скал и темных пещерах морей. Я плачу по утрам, потому что не могу смеяться, а по вечерам я обхожу свой край, и я несчастлив. Где я целовал – вылетела птица; где я ступил – расцвел цветок. Но Мысль поймала моих птиц в свои силки и продала на рынках. Кто избавит меня от Мысли, от низкого ханжества Разума, создателя цепей и капканов? Кто спасет меня от священной нечистоты Чувства, чьи дочери – Зависть, Ревность и Ненависть – рвут мои цветы, чтобы украсить свой разврат, и мои листья, чтобы те сохли на их мерзких грудях. Взгляни – я заперт в пещере небытия до тех пор, пока голова и сердце не сойдутся, чтобы выносить плод, пока Мысль не заплачет о Любви, а Чувство не очистит себя, чтобы выйти навстречу своему возлюбленному. Тир-на-нÓг¹⁴ – это сердце мужчины и голова женщины. Далеко разнесены они. Они стоят, замкнувшись в себе, а между ними раскинулось беспокойное море пустоты. Никакой голос не долетит с одного из этих берегов на другой. Ничей глаз не соединит их мостом, и ничье желание не сведет их, пока не найдет их слепой бог, вынесенный волной – не так, как снимается в свой поиск стрела с тетивы лука, но тихо, незаметно, как перышко, подхваченное ветром, по сто раз касается земли; не компасом и картой, но дыханием Всемогущего, которое веет отовсюду, не тяготясь и не переставая. День и ночь оно веет извне внутрь. Оно все собирает к центру. Из внешней дали во внутреннюю глубину, проносясь, от тела к душе, пока голова женщины и сердце мужчины не наполнятся Божественным Воображением. Гимен, Гименя! Я пою ушам, которые зажаты, глазам, которые закрыты, и умам, которые не трудятся. Сладко пою я на склоне холма. Слепой да взглянет внутрь себя, а не вовне; глухой да прислушается к рокоту крови в его жилах и зачаруется мудростью милости; безмысленный да задумается без усилия, как сверкает молния, чтобы рука Невинности могла дотянуться до звезд, чтобы стопы Восторга танцевали для Отца Радости, а смеху Счастья отвечал Голос Благословения.

Так пел Ангус Óг в пещере, и не успел он замолкнуть, как Кейтилин Ни Мурраху вырвалась из объятий своих желаний. Но так крепки были руки Пана, державшие ее, что, когда она высвободилась, на ее теле остались отметины его пальцев, и немало дней прошло прежде, чем эти отметины исчезли.

Тогда Пан молча поднялся, взяв в руки свою сдвоенную свирель, и девушка заплакала, упрашивая его остаться, быть ее братом и братом ее возлюбленного, но Пан улыбнулся и сказал:

– Твой возлюбленный – мой отец и мой сын. Он – вчера и завтра. Он – верхний и нижний жернов, а я буду сокрушаем между жерновами, пока не склонюсь снова перед престолом, от которого я пришел, – и, сказав это, он нежнейше обнял Ангуса Óга и пошел через тихие поля, по склонам гор, исчезая в синих просторах пустоты.

А через некоторое время Кейтилин Ни Мурраху со своим спутником пошла за кромку

14 Ирл. “страна юности”, в мифологии – остров, жители которого вечно остаются молодыми и прекрасными, расположенный где-то в западном море.

поля; и она пошла с ним не потому, что поняла его слова, и не потому, что он был наг и не стыдился, а только потому, что она была очень нужна ему, и поэтому она любила его, и показывала ему тропу, и заботилась, чтобы он не споткнулся.

Книга IV. Возвращение Философа

Глава XIII

Что важнее, Земля или существа, ходящие по ней? Этим вопросом задается лишь высокомерие интеллекта, ибо у жизни нет больших и нет меньших. То, что есть, оправдывает свое значение самым своим существованием, ибо это – достижение, равновеликое для всех живущих. Если бы жизнь была дана нам извне, вопрос превосходства имел бы смысл, но жизнь всегда внутри нас, и наши собственные потребности, стремления и действия меняют и продлевают ее. Извне к нам приходит пыльца, обновление космоса и покой – этого достаточно. Можно спрашивать, является ли Земля чем-то большим, чем продолжение нашего человеческого сознания, или же мы, ходящие существа – лишь продолжения, антенны Земли. Но эти вопросы не имеют ценности, кроме как в области, где, как мудрый агнец, резвится Мысль. И все было бы прекрасно, если бы Мысль лишь резвилась и не строила бы из себя *locum tenens*¹⁵ Интуиции и привычки к работе, а затем – и советчика и критика Всемогущества.

У всего есть два имени, и все – двояко. Имя мужской Мысли, какой она предстает миру – Философия, но имя, которое она носит в Тире-на-нОг – Обман. Женская мысль зовется Обществом на земле, в вечности же она известна как Иллюзия; и это потому, что до сих пор не было бракосочетания духа, а только гермафродитическое размножение машинальных идей, которые, сменяя поочередно друг друга, занимают главенство и воцаряются в жестокости. Миру эта система мысли известна как Логика, потому что она последовательна, но Вечность записала ее в Книгу Ошибок как Механичность; потому что жизнь не может быть последовательной, она взрывчата и изменчива, а иначе это закованный и трусливый раб.

Одна из величайших проблем жизни – в том, что Разум взял на себя обязанность управлять Справедливостью и путем простого замещения заполучил корону и скипетр своего повелителя. Но эта неосязаемая узурпация была замечена, и властвующие умы понимают ту бездну, которая ныне разделяет самозванный Закон и Короля-изгнанника. Схожим образом, с притворным смирением, Холодный Демон выдвинулся служить Религии и обманом и силой занял ее трон; но чистота сердца до сих пор убегает от призрака Теологии танцевать в экстазе перед вечной звездной богиней. Государственность, этот скромный Пастырь Стад, также лишилась своего посоха и колокольчика и блуждает неизвестно где, пока под знаменем Политики над интеллектуальным хаосом, завывая, восседает Разум.

Справедливость есть установление равновесия. Кровь Каина должна вопить не из уст Мстителя, но от самой оскорбленной Земли, которая требует восстановить свое возмущенное спокойствие. Вся справедливость, следовательно, заключается в исправлении вреда. Ущемленная совесть имеет все права требовать сочувствия и помощи – но не для наказания виновного. Этого может искать лишь трусливый и эгоистичный Интеллект, что вопреки своему желанию видит Землю, из которой он вышел и в которую должен будет вернуться, и поэтому, будучи эгоистом, завистником и ренегатом жизни, Разум более жестоко несправедлив, чем все прочие проявления беспорядочной божественной энергии – беспорядочной, потому что, как было сказано, "непрямые пути – пути гения". Природа дарует всем своим созданиям неограниченную, подхлестываемую соревнующимися потребностями, свободу выиграть или проиграть; за исключением одного лишь Разума, ее Демона Порядка, который не способен ни на то, ни на дру-

15 Лат. "местохранитель, держатель места".

гое, и чьи крылья она подрезала по какой-то причине, мне пока неизвестной. Может быть, не будучи ограниченной от Природы, ментальность поставила бы под угрозу ее собственное интуитивное восприятие, сковав все ее органы чувств, или же она надоедала бы ей своими раздражающими потугами на творческое соперничество.

Таким образом, должно понимать, что когда лепреканы Горта-на-Клока-Мора действовали так, как описано здесь, ими не руководила никакая низменная страсть к мести, но одно лишь стремление воссоздать ритм, который был самым их существованием, и который, должно быть, имеет непосредственное значение для Земли. Месть – самая гадкая из страстей, известных жизни. Она сделала возможным Закон и тем самым позволила Интеллекту впервые ухватиться за то вселенское господство, на которое он претендует. Лепрекан важнее для Земли, чем премьер-министр или маклер на бирже, потому что лепрекан танцует и веселится, а премьер-министр ничего не понимает в этих природных добродетелях. Следовательно, ущерб, нанесенный лепрекану, поражает несчастьем саму Землю, и по этой причине правосудие является властной и неотложной необходимостью.

Община лепреканов без золотого горшка – ущербная и безрадостная община, и, пытаясь снискать сочувствия и помощи, чтобы вернуть себе столь важное сокровище, они, безусловно, были в своем праве. Однако действия, которые лепреканы Горта-на-Клока-Мора предприняли, чтобы вернуть себе свою собственность, могут навсегда заклеить их печатью позора. В их защиту следует вспомнить, что их жестоко обхитрили. Их золото не только украли, но и спрятали так, что оно подпало под защиту их же собственной общинной чести, а домашние их врага были защищены от их действенной и праведной злости тем, что Тощая Женщина с Инис-Маграта принадлежала к самым могучим Ши Ирландии. В таких обстоятельствах заключаются порой опасные союзы; стихийные существа впервые в истории призвали на помощь буржуазию.

Им было противно делать это, и правосудие должно отметить этот факт. Они сделали это со зла, а злость – это слепота и ума, и интуиции. Это не та благодетельная слепота, что удерживает человека от взгляда вовне, но тот мрак отчаяния, который окутывает то, что внутри, и не дает сердцу и уму по-супружески узнать друг друга. Но даже эти смягчающие обстоятельства не могут оправдать того, что совершили лепреканы, и остается лишь опереться на ту отвлеченную мысль, что из зла всегда в конце концов происходит добро, иначе же зло было бы пагубно превыше всякой меры. Когда лепреканы смогли осознать, в чем они провинились, они весьма сожалели об этом и постарались всячески выказать свое раскаяние; но без возмещения раскаяние – посмертная добродетель, не пригодная ни для чего, кроме могилы.

Не прошло и трех часов с ухода Философа в путешествие к Ангусу Óгу, как четверо полицейских подошли к маленькому домику со столько сторон, со скольких смогли, и без труда проникли внутрь. Тощая Женщина с Инис-Маграта и двое детей издали услышали их плохо скрываемое приближение и, поняв, что за гости идут к ним, спрятались в чащобе леса. Спустя немного времени после того, как люди зашли в хижину, оттуда начали раздаваться громкие и приглушенные звуки, и примерно через двадцать минут пришельцы появились снова с телами Седой Женщины из Дун-Гортина и ее мужа. Высадив дверь, полицейские положили на нее тела, быстрым шагом прошли между деревьями и вскоре исчезли из виду. Когда они ушли, Тощая Женщина и дети вернулись в свой дом, и над разоренным очагом Тощая Женщина произнесла длинное и пылкое проклятие, в котором полицейские были выставлены нагишом на позор Вечности...

С вашего позволения вернемся теперь к Философу.

По окончании разговора с Ангусом Óгом Философ получил благословение этого бога и

отправился в обратный путь. Выйдя из пещеры, он не знал, ни где он, ни куда ему идти, налево или направо. Из путеводных мыслей была только одна – что раз он взбирался на гору, то на обратном пути, по простой противоположности, ему надо будет спускаться; и Философ повернулся спиной к вершине и тронулся в путь с охотой. Вверх по склону он поднимался с воодушевлением; вниз он сходил в экстазе. Он приветствовал в голос все ветра, что пролетали мимо. Из колодцев забвения он достал себе сверкающие слова и веселые мелодии, которым радовался мальчишкой, и стал петь их громко и без остановки, помогая себе идти.

Солнце еще не встало, но на горизонте спокойный свет уже заливал небо. Уже почти совсем рассвело, от теней осталась лишь тонкая кисея, и мирное, недвижимое спокойствие нисходило от серого неба на шепчущуюся землю. Птицы начали просыпаться, но еще не пели. То и дело одинокое крыло прорезало прохладный воздух; но большей частью птицы еще сидели, прижимаясь друг к другу, в своих покачивающихся гнездах в папоротниках или в высокой траве. Послышалось неуверенное "чирик" – и смолкло. Чуть поодаль сонный голосок произнес «чип-чип» и снова убрал голову под теплое крыло. Кузнечики – и те молчали. Те существа, что живут ночью, вернулись в свои жилища и теперь наводили там порядок, а те, что принадлежат дню, старались понежиться еще хоть минутку. Наконец первый ровный луч сошел, словно тихий ангел, на вершину горы. Тонкое сияние разрослось и окрепло. Серые кисеи растаяли. Птицы повывлетали из гнезд. Кузнечики проснулись и тотчас же занялись своим делом. Один голос безостановочно говорил что-то другому, а время от времени на протяжении нескольких длинных секунд звенела чья-нибудь песенка. В основном же это был обычный щебет и переговоры, которые птички вели, взмывая, пикируя и кружась, добывая каждая свой завтрак.

Философ сунул руку в суму и нашел там последние разломанные кусочки своего хлеба; и едва рука его коснулась пищи, как его охватил такой свирепый голод, что он сел, где стоял, и изготовился съесть все.

Присел он на скамейку под изгородью, а прямо перед ним оказались чуть покосившиеся ворота, открывавшиеся в широкое поле. Присев, Философ поднял глаза и увидел, как с той стороны к воротам подходят люди. Их было четверо мужчин и три женщины, и у каждого из них было железное ведро. Философ, вздохнул и убрал хлеб обратно в суму, сказав:

– Все люди – братья, и может быть, эти люди голодны так же, как я.

Спустя немного времени незнакомцы подошли к Философу. Впереди всех был рослый мужчина, заросший бородой по самые глаза; он шел, словно сильный ветер. Он раскрыл ворота, сняв с них засов, прошел в них со своими спутниками, затем закрыл ворота и запер их. Философ обратился к нему как к старшему.

– Я собирался позавтракать, – сказал он, – и если вы голодны, то не перекусите ли со мной?

– Почему нет? – ответил мужчина. – Кто отказывается от вежливого приглашения, тот хуже собаки. Это три моих сына и три дочери, и мы все благодарим вас.

Сказав это, он присел на скамью, и его спутники, поставив ведра за спину, сделали так же. Философ разделил свой хлеб на восемь частей и раздал каждому по куску.

– Простите, что выходит так мало, – сказал он.

– Дареного никогда не бывает мало, – сказал бородатый человек и учтиво разломил свой кусок на три части, хотя легко мог съесть все в один присест, и дети его поступили со своими

долями так же.

– Это был славный, добрый хлеб, – сказал бородатый, покончив с ним; – он был славно выпечен и славно поделен; однако, – продолжил он, – я в затруднении, и может быть, вы, сэр, посоветуете мне, что мне делать?

– В чем ваша трудность? – спросил Философ.

– Вот в чем, – ответил тот. – Каждое утро, когда мы выходим доить коров, матушка моих снов дает нам всем по свертку с едой, чтобы мы не слишком проголодались; но, как сейчас мы уже славно позавтракали с вами, то что же нам делать с едой, которую мы несем с собой? Хозяйке не понравится, если мы принесем ее обратно домой, а если мы выкинем ее, это будет грех. Если бы это не было неуважением к вашему завтраку, парни и девки могли бы избавиться от нее, съев ее; ведь вы знаете, что молодежь всегда может съесть еще чуть-чуть, сколько бы ни было съедено перед тем.

– Уж конечно, съесть еду будет лучше, чем выкидывать, – сказал Философ с некоторым сожалением.

Молодые люди достали из карманов большие свертки с едой, развернули их, а бородатый человек сказал:

– У меня тоже есть моя доля, и она не пропала бы, если бы вы были так добры помочь мне с ней справиться, – и он вынул свой сверток, который был вдвое больше других.

Он развернул сверток и большую часть его содержимого передал Философу, затем зачерпнул кружкой молока в одном из ведер и ее также поставил перед Философом, и все они тут же начали есть с волчьим аппетитом.

Когда трапеза была окончена, Философ набил свою трубку, и бородатый человек и три его сына сделали то же.

– Сэр, – сказал бородатый человек, – я был бы рад узнать, зачем вы путешествуете так рано поутру, ведь в этот час просыпаются только солнце, птицы да те, кто, как мы, ходит за скотиной.

– Я с радостью расскажу вам, – сказал Философ, – если вы назовете мне свое имя.

– Мое имя – МакКул, – сказал бородатый человек.

– Этой ночью, – сказал Философ, – когда я выходил из обители Ангуса Óга в Пещерах Спящих Эринн¹⁶, мне было велено сказать человеку по имени МакКул¹⁷: кони ударили копытами во сне, и спящие повернулись с боку на бок.

– Сэр, – сказал бородатый человек, – ваши слова звенят в моем сердце, как музыка, но моя голова их не понимает.

– Я научился тому, что голова ничего не слышит, пока не услышало сердце, – сказал Философ, – а то, что сердце узнало сегодня, голова поймет завтра.

– Все птицы мира поют в моей душе, – сказал бородатый человек, – и я благословляю вас, потому что вы наполнили меня надеждой и гордостью.

16 Эринн — одно из легендарных имен Ирландии.

17 Финн Мак Кумал, или Мак Кул – герой множества ирландских саг.

И Философ пожал ему руку, и пожал руки всем его сыновьям и дочерям, которые поклонились ему по тихому слову их отца, а отойдя немного, Философ оглянулся назад и увидел, что они стоят там, где он их оставил, и бородатый человек посреди дороги обнимает своих детей.

Скоро поворот дороги скрыл их из виду, и Философ, подкрепившись пищей и свежестью утра, зашагал вперед, распевая от радости. Было все еще рано, но теперь птицы уже позавтракали и обратились друг к другу. Они отдыхали парочками на ветвях деревьев и на изгородях, танцевали в воздухе в счастливом братстве и пели друг другу дружеские и приятные песенки.

Пройдя уже немалое расстояние и почувствовав некоторую усталость, Философ присел освежиться в тени раскидистого дерева. Неподалеку от него стоял дом из тесаного камня. Давным-давно дом был замком, и даже сейчас еще фасад его, хоть и тронутый временем и превратностями судьбы, выглядел воинственно и мрачно. Пока Философ сидел, по дороге прошла молодая женщина и встала, глядя неотрывно на этот дом. Волосы ее были черны, как ночь, и гладки, как спокойная вода, но лицо ее было так устремлено вперед, что в спокойных его чертах не было ни капли спокойствия. Через некоторое время Философ заговорил с ней:

– Девушка, – спросил он, – почему ты так жадно смотришь на этот дом?

Та обернулась на Философа бледным лицом и взглянула на него:

– Я и не заметила вас тут под деревом, – сказала она и сделала шаг вперед.

– Сядь, посиди со мной, – сказал Философ, – и мы поговорим. Если у тебя что-то неладно, расскажи мне, и, может быть, тебе полегчает.

– Присяду с охотой, – сказала девушка, и так и сделала.

– Выговориться, если у тебя не все ладно, всегда хорошо, – сказал Философ. – Знаешь ли ты, что разговор – вещь действительная? В словах больше силы, чем считают многие. Мысли приходят от Бога, они рождаются от союза головы и легких. Голова отливает мысль в формы слов, и тогда мысль рождается и звучит в воздухе, который уже находился в тайных царствах тела, воздухе, который входит, принося жизнь, и выходит, нагруженный мудростью. По этой причине ложь ужасна, ибо она обращает мощные и непостижимые силы к низменному, отягощает жизненосную стихию, платя ей злом за добро; но те, кто говорит правду, и чьи слова – символы мудрости и красоты, те очищают весь мир и изводят заразу. Единственное, что может быть неладно с телом – это болезнь. Все остальные несчастья приходят от ума, и, поскольку они принадлежат мысли, ее хозяин может прогнать их, как гнусных и беззаконных бродяг; ибо с неладиями ума следует разговаривать, противостоять им, отражать их и таким образом избавляться от них. Ум не может позволить себе принимать кого-либо, кроме граждан добрых и честных, которые будут участвовать в строительстве веселия и святости мира, ибо таков долг мысли.

Философ говорил, а девушка внимательно смотрела на него:

– Сэр, – сказала она, – сердце открывают молодому, а ум – старику, и когда сердце глупо, то уму приходится лгать. Я могу рассказать вам, что знаю, но как мне рассказать о том, что я чувствую, когда я сама этого не понимаю? Если я скажу вам слова "я люблю одного человека", то я ничего не скажу, а вы не услышите ни одного из этих слов, которые мое сердце повторяет себе без перерыва в тишине моего тела. Молодой глуп умом, а старик глуп сердцем, и они могут только смотреть друг на друга и проходить мимо в удивлении.

– Ты не права, – сказал Философ. – Пожилой человек может взять тебя за руку, вот так, и

сказать: «Да придет к тебе все хорошее, дочь моя.» На любую беду есть участие, а для любви есть память, и она – тихая дружеская беседа сердца и ума. То, что сердце знает сегодня, ум поймет завтра, и поскольку ум должен учиться у сердца, необходимо, чтобы сердца наши были очищены и свободны от всякой лжи, а иначе человек будет безнадежно испорчен сверх всякой меры.

– Сэр, – сказала девушка, – две великие глупости знаю я – это любовь и слова, потому что если их отдашь, то ни за что не вернешь обратно, и тот, кому ты их отдаешь, не делается богаче, а тот, кто отдает, делается бедным и смущенным. Я отдала свою любовь человеку, которому она была не нужна. Я сказала ему о моей любви, а он посмотрел на меня удивленными глазами; вот в чем моя беда.

Некоторое время Философ сидел, пораженный, молча глядя на землю. Непонятно почему, ему не хотелось смотреть на девушку, хотя он чувствовал, что она не сводит с него глаз. Но спустя некоторое время Философ поднял на нее глаза и заговорил снова.

– Делать подарки неблагодарному неправильно, и не стоит сожалеть о них. Если твоя любовь благородна, то почему ты так низко поступаешь с ней? Если она низка, то у него есть все права отвергнуть ее.

– Любят, как ветер дует. – ответила девушка.

– Есть на свете вещь, – сказал Философ, – она больше всего и меньше всего на свете.

– Что это? – спросила девушка.

– Гордыня. – ответил Философ. – Она живет в пустом доме. Ум, который никогда не навещало сердце – это дом, в котором живет гордыня. Это обман, дорогая моя, а не любовь. Прогони мошенницу-гордыню, вдень цветок в волосы и свободно иди восвояси.

Девушка рассмеялась, и ее побледневшее лицо вдруг разрумянилось, как рассвет, и засияло, как лучезарное облачко. Тепло и красота заструились от нее, когда она наклонилась поближе:

– Ты ошибаешься, – прошептала она, – потому что он любит меня; но он еще не знает об этом. Он молодой, буйный, у него нет времени смотреть на женщин; но он смотрел на меня. Мое сердце знает это, и мой ум знает; только я нетерпелива и хочу, чтобы он посмотрел на меня снова. Его сердце вспомнит меня завтра, и он отправится искать меня, в мольбах и слезах, с криком и угрозами. Завтра, когда он будет протягивать руки к небу, меня будет очень трудно найти, и он будет удивлен и напуган оттого, что не найдет меня. Завтра я спрячусь от него, и буду хмуриться на него, когда он заговорит, и отвернусь, когда он пойдет за мной: до послезавтра, когда он напугает меня своей яростью, схватит меня своими буйными руками и заставит посмотреть на него.

Сказав это, девушка поднялась и собралась уйти.

– Он в этом доме, – сказала она, – и я не позволю ему увидеть меня здесь ни за что на свете.

– Зря я потратил на тебя время, – сказал Философ, улыбаясь.

– А на что оно еще годится? – спросила девушка и, поцеловав Философа, быстро убежала по дороге.

Не прошло много времени с ее ухода, как из серого дома вышел человек и быстро про-

шел по траве. Подойдя к изгороди, отделявшей луг от дороги, он взметнул обе руки в воздух, размахнулся ими и перепрыгнул через изгородь на дорогу. Это был невысокий, черноволосый юноша, и движения его были так скоры и порывисты, что он, казалось, смотрел во все стороны сразу, хотя шел бурно в одном и том же направлении.

Философ спокойно обратился к нему:

– Это был хороший прыжок, – сказал он.

Юноша рывком обернулся и в то же мгновение оказался рядом с Философом.

– Для кого-нибудь это был бы хороший прыжок, – ответил он, – но для меня это прыжок небольшой. Вы весь в пыли, сэр; должно быть, вы сегодня немало прошли.

– Немало, – согласился Философ. – Присядь со мной, друг мой, и составь мне ненадолго компанию.

– Не люблю я сидеть, – сказал юноша, – но всегда откликаюсь на просьбу и всегда принимаю дружбу. – И, сказав так, он упал на траву.

– Ты работаешь в этом большом доме? – спросил Философ.

– Ага, – ответил юноша. – Я натаскиваю собак для толстяка, который вечно гогочет и говорит гадости.

– Похоже, ты не любишь своего хозяина.

– Это верно, сэр, что я не люблю никаких хозяев; но этого человека я просто ненавижу. Я служу у него уже неделю, и он ни разу не посмотрел на меня по-дружески. Да вот прямо сегодня, у конуры, он прошел мимо меня, как мимо камня или дерева. Я чуть было не выскочил, не схватил его за горло и не сказал ему: "Собака, ты не здороваешься со своим ближним?" Но я позволил ему уйти, потому что неприятно мне душить такого толстяка.

– Если тебе не по нраву твой хозяин, разве не стоит поискать другого занятия? – спросил Философ.

– Я думал об этом, и я думал – убить мне его или жениться на его дочери. Она тоже ходила бы мимо меня, как ее отец, только я не позволяю этого женщинам; да и ни один мужчина бы не позволил.

– Зачем тебе это? – спросил Философ.

– Сперва я не смотрел на нее; когда она прошла мимо меня второй раз, я отвернулся; а на третий день она заговорила со мной, и пока она стояла рядом, я смотрел сквозь нее. Она сказала, что надеется, что мне понравится в новом доме, и говорила таким милым голоском; но я поблагодарил ее и отвернулся как ни в чем ни бывало.

– Девушка хороша собой? – спросил Философ.

– Не знаю, – ответил юноша. – Я еще не смотрел на нее, хотя теперь я вижу ее повсюду. Думаю, если бы я женился на ней, она бы меня замучила.

– Если ты не видел ее, откуда тебе знать?

– У нее легкая походка, – сказал юноша. – Я смотрел на ее ноги, и они испугались. Откуда вы идете, сэр?

– Я скажу тебе, – ответил Философ, – если ты назовешь мне свое имя.

– Легко сказать, – сказал юноша. – Мое имя – МакКулин.

– Этой ночью, – сказал Философ, – когда я выходил из обители Ангуса Óга в Пещерах Спящих Эринн, мне было велено сказать человеку по имени МакКулин¹⁸: Серый из Махи ржал во сне, и меч Лаэга зазвенел о пол, когда тот повернулся с боку на бок.

Юноша вскочил с травы:

– Сэр! – сказал он взволнованным голосом, – я не понимаю ваших слов, но от них мое сердце пляшет и поет во мне, как птица.

– Если прислушаешься к своему сердцу, – сказал Философ, – то узнаешь все, что есть на свете хорошего, ибо сердце – источник мудрости, из которого мысли бьют в ум, придающий им форму.

И, сказав так, Философ попрощался с юношей и двинулся дальше по извилистой дороге.

Теперь день уже разошелся, было хорошо за полдень, и мощный солнечный свет неустанно изливался на мир. Тропа Философа все еще лежала меж высоких холмов, короткие отрезки пути пробегая прямо, но постоянно сворачивая то налево, то направо. Ее и тропой-то едва ли можно было назвать, такой узкой стала она. Порою она вовсе переставала быть тропой, потому что трава дюйм за дюймом наступала на нее и скрывала следы человека. Изгородей уже не попадалось, только каменистая, бугристая земля, поросшая там и сям кустами и выгибающаяся буграми и лощинами до самого горизонта. Повсюду царила полная тишина – бесшумная, ибо там, где светит солнце, нет печали; единственными звуками были шелест травы под ногами Философа и жужжание случайной пчелы, что пролетела мимо и унеслась прочь в тот же миг.

Философ очень проголодался и оглядывался по сторонам в поисках чего-нибудь, что можно было бы съесть.

– Будь я коза или корова, – говорил он, – я мог бы попасться на этой траве и насытиться. Будь я осел, я мог бы пощипать жестких колючек, что растут по бокам; или, будь я птица, я мог бы покормиться гусеницами и ползучими тварями, что без счета копошатся повсюду. Но человеку нечем питаться даже посреди изобилия, потому что он ушел от природы и живет своей вычурной и вырожденной мыслью.

Так рассуждая, Философ случайно поднял глаза и вдалеке увидел одинокую фигурку, сливавшуюся с землей в лощинах и снова появлявшуюся в другом месте. Перемещения этой фигуры были такими странными и причудливыми, что Философу оказалось чрезвычайно трудно следовать за ней, и он никогда не догнал бы ее, если бы ему не повезло, и та не двинулась в его сторону. Приблизившись, Философ увидел, что это – маленький мальчик, танцующий там и сям по траве. Кустистый холм скрыл его на мгновение, а потом они вдруг оказались лицом к лицу и оглядели друг друга. После минутного молчания мальчик, которому на вид было лет двенадцать, прекрасный, как утро, поздоровался с Философом.

– Вы потеряли дорогу, сэр? – спросил он.

– Все дороги, – ответил Философ, – лежат на земле, и поэтому потерять их нельзя – но где-то заблудился мой обед.

18 *Кухулин – другой, возможно, самый известный герой ирландских саг.*

Мальчик прыснул смехом.

– Чему ты смеешься, сынок? – спросил Философ.

– Да тому, что я несу вам ваш обед, – ответил мальчик. – Я-то как раз думал – что это меня понесло в эту сторону? Ведь обычно я гуляю дальше к востоку.

– Мой обед? – спросил Философ заинтересованно.

– Ну да, – ответил мальчик. – Свой обед я съел дома, а ваш сунул в карман. Я подумал, – пояснил он, – что проголодаюсь, если забреду далеко.

– Сами боги послали тебя ко мне, – воскликнул Философ.

– Это бывает, – согласился мальчик и вынул из своего кармана небольшой сверток.

Философ немедленно сел, и мальчик передал ему сверток. Философ развернул его и нашел в нем хлеб и сыр.

– Это славный обед, – сказал он и приступил к еде. – А ты, сынок, не съешь кусочек?

– Кусочек съел бы, – ответил мальчик, сел рядом с Философом, и они с удовольствием поели вместе.

Покончив с едой, Философ возблагодарил богов, а потом сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к мальчику:

– Еще бы немного воды, и мне было бы больше нечего желать.

– Здесь в четырех шагах ручей, – сказал его спутник. – Я принесу воды в своей шапке, – и исчез.

Через несколько мгновений он появился снова, бережно неся свою шапку, и Философ взял ее и напился воды.

– Теперь мне нечего желать во всем мире, – сказал он, – кроме как поговорить с тобой. Солнце светит, ветерок приятный, и трава мягкая. Посиди со мной еще немного.

И мальчик сел, а Философ разжег трубку.

– Ты живешь далеко отсюда? – спросил он.

– Недалеко, – ответил мальчик. – Дом моей мамы вы могли бы увидеть отсюда, если бы были высоким, как дерево – да и с земли можно увидеть струйку дыма над нашей хижинкой.

Философ посмотрел, но не увидел ничего.

– Глаза у меня не такие хорошие, как твои, – сказал он, – ведь я уже почти состарился.

– А как это – состариться? – спросил мальчик.

– Как будто отвердеваешь, – сказал Философ.

– И все? – спросил мальчик.

– Не знаю, – ответил Философ, подумав немного. – Ты можешь объяснить мне, как это – быть молодым?

– Почему нет? – ответил мальчик, но тут задумчивость пролегла по его лицу, и он поправился, – Нет, пожалуй, не смогу.

– Молодые, – сказал Философ, – не знают, что такое годы, а старые не помнят, какой была молодость. Когда ты начнешь стареть, всегда старайся не забывать свою молодость, потому что старик, которому нечего вспомнить – это жизнь, прожитая зря; а помнить стоит только наше детство. Я расскажу тебе кое-что о разнице между старостью и молодостью, а потом ты сможешь поспрашивать меня, и так мы рассмотрим этот вопрос с обеих сторон. Во-первых, старик устает быстрее, чем мальчик.

Мальчик подумал немного и возразил:

– Это не большое отличие, потому что мальчик устает очень сильно.

Философ продолжил:

– Старику не хочется есть так часто, как мальчику.

– И это не большое отличие, – возразил мальчик, – ведь они оба хотят есть. Вы назовите большое отличие.

– Я его не знаю, сынок; но я всегда думал, что большое отличие есть. Может быть, оно в том, что старик помнит о том, о чем мальчик даже не догадывается.

– Но они оба помнят о чем-нибудь, – сказал мальчик, рассмеявшись, – так что это не большое отличие.

– Это верно, – согласился Философ. – Может быть, такого уж большого отличия и вовсе нет. Расскажи мне, чем ты обычно занимаешься, и мы посмотрим, могу ли я заниматься тем же.

– Но я не знаю, чем я занимаюсь, – сказал мальчик.

– Как это ты не знаешь? – спросил Философ. – Может быть, ты не знаешь, как расставить все это по порядку. Самое главное во всякого рода вопросах в том, чтобы знать, с чего начать; у всего, что мы можем делать, есть две точки: начало и конец. С любой из этих точек можно посмотреть таким образом, чтобы охватить все, что между ними. Поэтому начнем с того, чем ты занимался сегодня утром?

– Вполне согласен, – сказал мальчик.

Тогда Философ продолжил:

– Когда ты проснулся сегодня утром и вышел из дома, чем ты занялся первым делом?

Мальчик задумался:

– Я вышел, потом взял камень и бросил его в поле так далеко, как только смог.

– А потом? – спросил Философ.

– Потом я побежал за камнем, чтобы посмотреть, смогу ли я поймать его на лету до того, как он упадет.

– Так, – сказал Философ.

– Я бежал так быстро, что споткнулся и полетел в траву.

– А что потом?

– Я лежал там, где упал, и обеими руками захватил полные пригоршни травы, вырвал ее

и бросил себе на спину.

– Потом ты встал?

– Нет, я зарыл лицо в траву и кричал, долго, прижав рот к земле; а потом я сел и долгое время сидел, не сходя с места.

– Ты думал о чем-то? – спросил Философ.

– Нет, я ни о чем не думал и ничего не делал.

– А зачем ты все это проделал? – спросил Философ.

– Да низачем. Просто так. – ответил мальчик.

– Вот, – сказал Философ торжествуя, – вот отличие между старостью и молодостью. Мальчишки делают что-то просто так, а старики – нет. Стоит подумать, не становимся ли мы стариками оттого, что делаем все по какой-либо причине, а не из инстинкта?

– Не знаю, – сказал мальчик; – ведь все на свете старится. Вы, сэр, идете издалека?

– Я скажу тебе, – ответил Философ, – если ты назовешь мне свое имя.

– Мое имя – МакКушин, – сказал мальчик.

– Этой ночью, – сказал Философ, – когда я выходил из обители Ангуса Óга в Пещерах Спящих Эринн, мне было велено сказать человеку по имени МакКушин¹⁹, что у Ангуса Óга и его супруги Кейтилин родится сын, и что Спящие Эринн повернулись на своих ложах.

Мальчик пристально посмотрел на Философа.

– Я знаю, – сказал он, – зачем Ангус Óг послал мне эту весть. Он хочет, чтобы я сочинил для народа Эринн стихи, и когда Спящие проснутся, они встретили бы друзей.

– Спящие уже проснулись, – сказал Философ. – Они здесь, рядом. Они ходят среди нас, но они забыли свои имена и смысл своих имен. Ты должен назвать им их имена и роды, потому что я старик, и мое дело уже сделано.

– Однажды я напишу эти стихи, – сказал мальчик, – и все ахнут, услышав их.

– Господь с тобой, сынок, – сказал Философ. Он обнял мальчика и продолжил свой путь.

Через полчаса нетрудной дороги он вышел на место, откуда далеко внизу увидел сосны Койлла-Дорака. Мглистый вечер опустился на мир прежде, чем Философ добрался до леса, а когда он вошел в маленький домик, стало уже совсем темно.

Тощая Женщина с Инис-Маграта встретила его, и собиралась уже хорошенько отчитать мужа за долгое отсутствие, но Философ поцеловал ее с такой непривычной нежностью и заговорил с ней так ласково, что сперва изумление лишило ее дара речи, а потом восторг вернул ей речь, и такой, какой она давно уже не бывала.

– Жена, – сказал Философ, – не сказать словами, как я рад снова увидеть твое милое личико!

Тощая Женщина сперва не нашлась, что ответить на это приветствие, однако с невероятной скоростью она выставила на стол горшок супа, начала печь пирог и постаралась поджа-

19 Ойсин (Оссиан) – величайший поэт, герой ирландских саг.

рить картошки. Потом она заплакала в голос и заявила, что во всем мире нет равного ее мужу по доброте и сердечности, и что сама она – грешница, недостойная ни благосклонности богов, ни такого супруга.

Но как только Философ обнял Шеймаса и Бригид Бег, дверь вдруг с грохотом распахнулась, в маленькую комнатку ввалились четверо полицейских, и после минутного оцепенения они удалились снова, забрав с собой Философа, который должен был предстать перед судом по обвинению в убийстве.

Книга V. Полицейские

Глава XIV

Пройдя немного по дороге, полицейские остановились. Ночь настала еще раньше, чем они захватили своего пленника, и теперь, в сгустившейся темноте, им было совсем неудобно. Прежде всего, они знали, что дело, которое они делали, не очень-то достойно человека, как бы оно ни выглядело для полицейского. Арест преступника можно оправдать такими доводами, как защита здоровья общества и охрана собственности; но никому ни при каких обстоятельствах не захочется вести в тюрьму мудреца. Кроме того, тревожило их то, что они находятся в самом сердце многонаселенной эльфийской страны, и что воинства стихий, может быть, уже выстроились вокруг них, готовые обрушить на них жуткую битву или нечто еще более жуткое – свою насмешку.

Путь к полицейскому участку был долог и вился длинными аллеями между деревьев, разросшихся местами над дорогой так обильно, что даже свет полной луны не пробивался сквозь их ветви в густую черноту. При свете дня эти люди арестовали бы хоть архангела и, если бы пришлось, оглушили бы его дубинками, но ночью тысячи страхов охватили их, и тысячи шорохов со всех сторон заставляли их вздрагивать.

Двое полицейских держали Философа под руки, и еще двое шли один впереди него, другой – сзади. Именно в таком порядке они следовали, когда в слабом свете увидели, что дорога прямо перед ними уходит в купу тех зарослей, о которых только что было сказано. Подойдя к этим деревьям, полицейские невольно остановились; шедший впереди мрачный и злой сержант в гневе обернулся к остальным:

– Ну, вперед же! – сказал он, – Какого черта вы ждете? – и шагнул вперед, в черноту.

– Держите этого типа хорошенько, – сказал тот, что шел сзади.

– Да ладно тебе, – ответил ему тот, что справа. – Отлично мы его держим, да и он староват уже для шуток.

– Ну, да вы там все равно держите его покрепче, потому как если он у вас выскользнет здесь, то тут же пропадет в кустах, как мышь. Эти старикашки – скользкая публика. Смотри, дед! – сказал он Философу. – Попробуешь сбежать от нас – огрею дубинкой по затылку, имей в виду!

Они прошли всего несколько шагов, как вдруг топот торопливых ног снова остановил их, и сержант тотчас же вернулся назад. Он разозлился:

– Вы собираетесь проторчать здесь всю ночь, или что вы там себе думаете? – сказал он.

– Да будет вам, – ответил ему тот, другой. – Мы тут просто разбирались с дедушкой, чтобы он не вздумал ускользнуть в темноте.

– По-вашему, он собирается дать деру? – спросил сержант. – Возьми дубинку, Шон, и если он хоть повернет голову, шарашь его по башке.

– Слушаюсь, – ответил Шон и вынул свой жезл.

Философ несколько замешался от неожиданности всех этих происшествий, а скорость, с

которой его заставляли двигаться, не давала ему ни задуматься, ни сказать что-либо; но во время этой краткой остановки его разметававшиеся мысли начали приходить в порядок. Сперва он был ошеломлен из-за насилия и из-за того, что четверо людей постоянно бегают вокруг него, говорят все разом и каждый тянет его в свою сторону; Философу показалось, что его схватило множество народу, и он никак не мог понять, чего же им всем надо. Спустя некоторое время он обнаружил, что людей всего четверо, а из их разговоров он понял, что арестован по обвинению в убийстве – и это повергло его в изумление еще более глубокое. Он совершенно не мог понять, с какой стати его арестовали за убийство, если он никогда не совершал его; и это наконец возмутило его.

– Я не ступлю ни шагу, – сказал он, – пока вы не скажете мне, куда вы меня ведете и в чем обвиняете.

– Расскажи-ка, – ответил сержант, – как ты их убивал? Ведь это же уму непостижимо, как они погибли без единого следа на теле; хоть бы зуб был выбит!

– О ком вы говорите? – спросил Философ.

– Какие мы невинные! – отвечал сержант. – О ком же еще, как не о мужчине и женщине, которые жили с тобой в твоей хибаре?! Яду ты им дал, или что? Возьми блокнот, Шон.

– Да что вы, в самом деле! – отозвался Шон. – Как я буду писать в такой темноте; да тем более, что у меня нет карандаша, не то что блокнота?

– Ладно, запишем все в участке; а он пускай рассказывает, пока мы идем. Вперед, потому что тут не самое лучшее место для разговоров.

Они зашагали снова, и через мгновение темнота поглотила их. Пройдя совсем немного, они услышали впереди странный звук, похожий на сопение какого-то огромного животного, а также что-то вроде храпа, и остановились снова.

– Там впереди что-то непонятное, – сказал один из полицейских тихо.

– Эх, была бы у меня хоть спичка! – отозвался другой.

Сержант тоже остановился.

– Отойдите к обочине дорогие, – сказал он, – и держите дубинки перед собой. Держи крепко этого типа, Шон.

– Слушаюсь. – ответил Шон.

Потом один из полицейских нашел у себя в кармане несколько спичек и добыл огня; ветра не было, поэтому огонь горел достаточно ровно, и все полицейские уставились вперед.

Посреди дороги лежала большая черная ломовая лошадь и чутко спала; когда перед ней зажегся свет, она вскочила на ноги и в панике с грохотом ускакала.

– Этак недолго и инфаркта лишиться, – сказал один из полицейских со вздохом облегчения.

– Точно так, – подтвердил другой. – Наступил бы на эту клячу в темноте – и не знал бы, что и думать.

– Что-то я не очень хорошо помню здесь, куда идти, – сказал сержант через некоторое время. – По-моему, на первом перекрестке надо свернуть направо. Не знаю, не проскочили ли мы уже поворот; на этих стежках-дорожках сам черт ногу сломит, тем более в такой темноте.

Ребята, кто-нибудь знает дорогу?

– Я не знаю, – отозвался один голос. – Я сам из Кавана.

– А я из Роскоммона, – ответил другой, – и зря я сейчас не там, вот что я думаю.

– Ну, если мы пойдем все прямо и прямо, то куда-нибудь уж точно придем, так что пошли. Ты крепко держишь этого типа, Шон?

– Так точно, – ответил Шон.

В темноте раздался голос Философа.

– Вовсе не нужно щипать меня, сэр. – сказал он.

– Да я тебя и не щиплю. – ответил полицейский.

– Щиплете, – возразил Философ. – Вы защемили большой кусок кожи в моем рукаве, и если вы сейчас же его не выпустите, я сяду прямо на дорогу.

– Так лучше? – спросил полицейский, чуть ослабив свою хватку.

– Вы выпустили только половину, – ответил Философ. – Вот, теперь лучше. – добавил он, и путешествие продолжилось.

Через несколько минут молчания Философ заговорил:

– Я не нахожу в природе никакой необходимости для полицейских, – сказал он, – и не могу понять, как в ней возник такой феномен. Собаки и кошки не заводят себе столь странных наемников, и все же их строй является прогрессивным и упорядоченным. Вороны – общительный народ с устоявшимся укладом и хорошо организованным сообществом. Они населяют разрушенные башни или колокольни церквей, и их цивилизация основывается на взаимопомощи и терпимости к привычкам друг друга. Их превосходная резвость и стойкость делают нападение на них опасным предприятием, и поэтому они могут спокойно посвятить себя развитию своих внутренних законов и обычаев. Если полицейские необходимы для цивилизации, вороны наверняка изобрели бы их, но я не без удовлетворения отмечаю, что в их республике нет никаких полицейских...

– Что-то я ни слова не пойму, что ты там говоришь? – сказал сержант.

– Не имеет значения. – сказал Философ. – Муравьи и пчелы также живут обустроенными общинами и развили в них чрезвычайно сложные занятия и профессии. Их опыт в государственных делах огромен, однако же они не постановили, что полицейская сила существенно важна для их процветания...

– А ты знаешь, – спросил сержант, – что все, что ты сейчас говоришь, может быть использовано как улика против тебя?

– Никоим образом, – ответил Философ. – Можно сказать, что все эти народы не знают преступления – что их пороки структурные, общественные, а не индивидуальные, и поэтому они не имеют необходимости в полиции; но я не могу поверить, чтобы такие большие массы народа могли бы достичь своего нынешнего высокого уровня культуры, не совершая время от времени не только общественных, но и индивидуальных проступков...

– Скажи-ка мне, раз уж ты так разговорился, – спросил сержант, – ты купил яд в аптеке или задушил обоих подушкой?

– Никоим образом, – ответил Философ. – Если преступление – условие для возникновения полицейских, то я замечу, что галки – чрезвычайно вороватый клан: они чуть больше дрозда и воруют даже шерсть со спины овцы на выстилку своего гнезда; более того, известно, что они могут украсть медный шиллинг и спрятать свою добычу так, что ее уже никто не увидит.

– Да у меня у самого была галка! – сказал один из полицейских. – Я купил ее у бабки, что стояла у дверей с корзинкой и выпрашивала пенни. Мать как-то раз наступила этой галке на спину, когда вставала с постели. А я разрезал этой птице язык трехпенсовиком, чтобы она заговорила, но черта с два она мне хоть что-нибудь сказала. Еще она все время волочилась, приговарываясь, будто у нее подбита нога, а потом норовила спереть твой носок.

– Молчать! – заорал сержант.

– Коль скоро они таковы, – продолжал Философ, – что воруют и у овец, и у людей, и коль скоро их интересует всё, от шерсти до денег, то я не вижу, что могло бы удерживать их от воровства друг у друга, и, следовательно, если где-то и следует искать появление полицейской власти, то именно у галок. Однако такой власти не существует! Причина же этого в том, что галки – разумный и вдумчивый народ, спокойно смотрящий на то, что мы называем преступлением и злом – кто-то ест, кто-то ворует, и то, и другое в порядке вещей, и потому бессмысленно с этим спорить. У людей философского склада другого взгляда и быть не может...

– Что за чертовщину он несет? – спросил сержант.

– Обезьяны общительны, склонны к воровству и человекообразны. Они обитают в экваториальных широтах и питаются орехами...

– Ты понимаешь, о чем это он, Шон?

– Никак нет, – ответил Шон.

– ... У них должны были появиться профессиональные борцы с воровством, однако всем известно, что этого не произошло. Рыбы, белки, крысы, бобры и бизоны обходятся без этого уникального образования – поэтому, когда я настаиваю на том, что я не вижу необходимости в полиции и возражаю против ее существования, мое возражение основано на логике и фактах, а не на беспомощных и шатких предрассудках.

– Шон, – спросил сержант, – ты крепко держишь этого типа?

– Так точно, – ответил Шон.

– Так вот, если он скажет еще хоть что-нибудь, тресни его дубинкой.

– Слушаюсь, – ответил Шон.

– Вон там виден свет! Может быть, это свечка на окне – там мы спросим дорогу.

Примерно через три минуты они пришли к небольшому домику, над которым склонились ветвями дерева. Если бы не свет, они наверняка миновали бы его в темноте. Когда они встали у двери, до них донеслась визгливая женская ругань.

– Да там все равно не спят, – сказал сержант и постучал в дверь. Ругань тотчас прекратилась. Через некоторое время сержант постучал снова; и прямо из-за двери послышался голос:

– Томас! Сходи, приведи двух собак, а я тогда сниму дверь с крючка!

Потом дверь открылась всего на несколько дюймов, и из-за нее выглянула женщина:

– Что вам надо в такое время ночи? – спросила она.

– Да почти ничего, мэм, – ответил сержант, – только спросить насчет дороги, потому как мы не уверены, то ли мы уже прошли мимо, то ли еще не дошли.

Женщина заметила полицейскую форму.

– Вы же полицейские, верно? Ну, тогда ничего страшного, если я вас впусти; а если вам не повредит глоток молока, то его у меня много.

– Молоко лучше, чем ничего, – сказал сержант, вздохнув.

– У меня есть немного чего покрепче, – сказала женщина, – но на всех не хватит.

– Отлично! – сказал сержант, строго оглядев своих товарищей. – Каждому в этом мире может повезти, – и он вошел в дом, а его люди – за ним.

Женщина налила им немного виски из бутылки и каждому по чашке молока.

– Ну, хоть пыль с глоток смыть, – сказал один из них.

В комнате стояло два стула, кровать и стол. Философ и его конвоиры сели на кровать. Сержант сел на стол, четвертый полицейский – на стул, а женщина устало опустилась на оставшийся стул и сочувственно посмотрела на арестованного.

– Куда же вы гоните этого беднягу? – спросила она.

– Это дурной человек, – ответил сержант. – Он убил человека и женщину, что жили с ним, и зарыл их тела под очагом в своем доме. Настоящий злодей, имейте в виду.

– Так вы его повесите, Господи нас помилуй?

– Кто знает? Но ни разу не удивлюсь, если этим кончится. Однако, у вас тут у самих что-то неладно, потому что, подходя к дому с дороги, мы слышали, как вы жаловались на что-то.

– Да не без этого, – ответила женщина, – потому что у кого в доме живет сын, у того всегда что-то неладно.

– Ну-ка, рассказывайте, что он вам сделал? – и сержант бросил суровый испытующий взгляд на парня, который с двумя собаками стоял у стены.

– Да он у меня вообще-то хороший мальчик. – сказала женщина, – Только слишком уж он любит зверье. Уходит в конуру и часами валяется там с собаками, гладит их, ласкает, бог знает что с ними делает; а стоит мне попытаться его поцеловать или приобнять на минуточку после работы, так он вырывается, словно угорь, пока я его не отпущу – такого кто хочешь возненавидит, не то, что я. Нету у него сердца, сэр, а я ведь его мать!

– Стыдно должно быть тебе, малой! – сказал сержант очень строго.

– А тут еще коняга, – продолжала женщина. – Может, вы видели его на дороге?

– Видели, мэм, – сказал сержант.

– Так вот, когда конь вернулся, Томас пошел привязать его, потому что тот вечно норовит уйти и бродить по дороге, так что можно, не ровен час, шею свернуть, споткнувшись об него. Через какое-то время я позвала парня в дом, а он не пришел, и тогда я вышла сама, и увидела, как они обнимаются с конем, представляете, а вид у них такой, будто их пыльным мешком ударило.

– Да, паренек-то с придурью! – сказал сержант. – С чего это ты полез обниматься с лошадью, Томас?

– Я уж как только не пыталась заставить его зайти в дом! – продолжала женщина. – Наконец сказала ему: «Сядь рядом, Томас, побудь со мною хоть немного,» – знаете, как одиноко бывает по ночам? – да только он не унимается. То скажет: "Мама, смотри, мотылек летает вокруг свечки, он обожжется!" то: "Муха попала в паутину вон там в углу", и бежит спасать ее, то вот еще: «Паук-косиножка бьется об стекло на подоконнике», и выносит его из дома; а когда я хочу поцеловать его, он меня отталкивает. Сердце мое совсем уж изнылось, потому как что у меня еще и есть-то на свете, кроме него?

– А отец его умер? – спросил сержант участливо.

– Сказать по правде, – ответила женщина, – не знаю, умер или нет, потому что давным-давно, когда мы еще жили в городе Блэкклиах²⁰, он однажды потерял работу и с тех пор не возвращался ко мне. Я так думаю, что ему, бедняге, стыдно стало приходить домой, потому что денег у него не было; будто бы мне так важно было, есть у него деньги или нет! Ах, сэр, он так любил меня! мы могли уж как-нибудь перекантоваться. Потом я перебралась сюда, к моему отцу; остальные дети умерли у меня на руках, а потом умер и отец, и теперь я уж тяну, как могу. Вот только мальчик меня беспокоит.

– Тяжелый случай, мэм, – сказал сержант, – но, быть может, парень слегка не в себе потому, что над ним нет отца. Или он просто слишком привык к вам. Ведь не бывает так, чтобы ребенок не любил свою мать. Веди себя хорошо, Томас! Слушайся маму, будь хороший мальчик и оставь зверей и насекомых в покое, потому что ни одна козявка не будет любить тебя так, как любит тебя твоя мама. Теперь скажите, мэм, прошли мы уже первый поворот по этой дороге или он еще впереди? Мы тут в темноте малость заблудились.

– Поворот еще впереди, – ответила женщина, – минутах в десяти ходьбы по дороге; да вы не пройдете мимо, потому что там вы увидите наверху просвет между деревьев, так вот это тот поворот и есть.

– Спасибо, мэм, – поблагодарил сержант. – Пожалуй, мы пойдем, потому как топать нам еще далеко; пока-то еще мы сможем лечь и поспать.

Он встал и остальные полицейские встали вслед за ним, как вдруг Томас шепотом сказал:

– Мама! Они его повесят! – и заплакал.

– Ну, полно, полно, – сказала женщина, – что же они-то могут поделать? – Женщина быстро опустилась на колени и раскрыла объятия. – Иди к маме, сыночек, милый мой!

Мальчик подбежал к ней:

– Они его повесят! – крикнул он высоким, срывающимся голосом и со всей силы вцепился в ее руку.

– Ну-ка, малой, давай не бузи! – сказал сержант.

Мальчик вдруг резко развернулся и набросился на него с неожиданной яростью. Он вцепился сержанту в ноги, кусался, молотил кулаками и пинал его. Нападение его было таким буйным, что сержант отшатнулся к стене, но тотчас же схватил мальчика и отшвырнул его через всю комнату. В то же мгновение оба пса набросились на сержанта, злобно рыча – одного

20 Просторечное название Дублина, от ирл. Baile Átha Cliath, "город брода плетней".

он пинком отбросил в угол, откуда тот сразу же метнулся снова, оскалась и сверкая налитыми кровью глазами; другого пса перехватила женщина. Под ужасный лай, рычание и щелканье зубов полицейские выскочили из дома и захлопнули за собой дверь.

– Шон! – проревел сержант. – Ты крепко держишь этого типа?

– Так точно. – ответил Шон.

– Если он убежит, я из тебя потроха выну, имей в виду! Пошли, и чтоб больше не мешать!

Они тронулись по дороге в звенящей тишине.

– Собаки, – сказал Философ, – умнейшие из существ...

– О Господи! – простонал сержант.

– С самых ранних времен их разумность была отмечена и записана, и древние авторы все как один сообщают об их сообразительности и преданности...

– Да закроешь ты свой рот?! – сказал сержант.

– Никоим образом, – сказал Философ. – Слоны также считаются чрезвычайно разумными и преданными своему хозяину, и они могут с равной искусностью строить стену и нянчить ребенка. Лошади в этом смысле имеют очень хорошие рекомендации; однако крокодилы, куры, жуки, броненосцы и рыбы не испытывают никакой особой привязанности к человеку...

– Чтоб все эти звери забились тебе в глотку – может, тогда ты прекратишь свою болтовню!

– Не имеет значения, – сказал Философ. – Я не в силах объяснить, каким образом эти животные привязываются к человеку с такой нежностью и любовью и в то же время сохраняют присущую им изначальную кровожадность, так что своим хозяевам они позволяют обращаться с собой как угодно плохо, но весьма охотно дерутся друг с другом и не бывают по-настоящему счастливы иначе, чем во время бессмысленной борьбы между собой. Я считаю, что отнюдь не страх укрощает этих существ, но что даже самое дикое животное имеет способность к любви, которую просто некому должным образом заметить, и которая, если относиться к ней более сознательно, может поднять его до положения разумного животного, сопоставимого с разумными, и, вероятно, установить между нами и им связь, которую нельзя назвать иначе, чем взаимовыгодной.

– Ищи, ищи глазами тот просвет в деревьях, Шон! – сказал сержант.

– Ищу, сэр, – ответил Шон.

Философ продолжал:

– Почему я не могу обмениваться мыслями с коровой? Я поражаюсь неполноте моего развития, когда я и мой собрат по творению немо стоим друг напротив друга без малейшего проблеска взаимопонимания, ограниченные, лишённые всякой возможности дружбы и общения...

– Шон! – воскликнул сержант.

– Не перебивайте, – сказал Философ, – что вы все время разговариваете?! Низшие животные, как их иногда по-глупому называют, имеют такие способности, которым мы можем только удивляться. Ум муравья таков, что я охотно пошел бы к нему в школу. Птицы хранят такие

атмосферические и аэронавтические знания, которые не будут доступны нам и через миллионы лет; кто видел, как паук выплетает свой лабиринт, или как пчела уверенно путешествует по воздушному бездорожью, тот сможет ли отрицать, что эти маленькие бездны одушевляет живой и опытный разум? Да самый обычный земляной червь – наследник культуры, перед которой я склоняюсь в глубочайшем почтении...

– Шон! – взмолился сержант. – Скажи хоть что-нибудь, ради бога, чтобы не слышать кваканья этого типа!

– Да о чем же говорить-то? – спросил Шон. – Не привык я разговаривать, и по документам никакого образования у меня нет, вы же знаете. Мне так кажется, он что-то говорил про собак. Вот у вас, сержант, была когда-нибудь собака?

– Отличное начало, Шон! – сказал сержант. – Давай продолжай.

– Я знал человека, у которого была собака, которая умела считать до ста. Он зарабатывал кучи денег на спор, и так бы жил себе совсем неплохо, да только я заметил однажды, что он подмигивает своей псине, а когда перестает подмигивать – собака перестает лаять. Тогда мы заставили его повернуться спиной к собаке и попросили ее сосчитать до шестипенсовика, так та налаяла нам аж до пяти шиллингов с мелочью, и считала бы, должно быть, дальше до фунта, да только хозяин обернулся и двинул ее ногой. Тогда все, кто спорил, сказали, что требуют деньги назад, а тот человек ночью смотал удочки в Америку, и я так думаю, что дела у него идут неплохо, потому как собаку он взял с собой. Это был терьер с такой жесткой шерстью, сука, и щенилась она, как черт.

– Удивительно, – сказал Философ, – как мало нужно людям для того, чтобы отправиться в Америку...

– Давай-давай, Шон, – перебил сержант, – по гроб жизни тебе буду обязан!

– Слушаюсь, – ответил Шон. – А еще у меня однажды была кошка, и она приносила котят каждые два месяца...

Философ возвысил голос:

– Если бы в этих миграциях была какая-то периодичность, это еще можно было бы понять. К примеру, птицы поздней осенью покидают свои дома и по всему миру ищут тепло и пропитание, которых зима лишила бы их, останься они на родине. Также лосось, прославленная рыба с розовой чешуей, приплывает из Атлантического океана и поднимается вглубь материка в ручьи и озера, где пребывает один сезон и часто попадает в сети, ловушки или на острогу...

– Шон! Встревай, встревай! – заволновался сержант.

Шон начал говорить громко и с удивительной быстротой:

– Кошки иногда пожирают свой окот, а иногда нет. Кошка, которая жрет своих детенышей – бессердечная скотина. Я знал кошку, которая все время жрала свой окот – у нее были четыре ноги и длинный хвост, и каждый раз, когда она сжирала свой окот, на нее нападала вертячка. Я сам прибил ее однажды молотком, потому что не мог больше терпеть вони от нее, так что не могу...

– Шон, – попросил сержант, – а ты можешь говорить о чем-нибудь кроме собак и кошек?

– Да не знаю я, о чем же говорить-то?! – сказал Шон. – Я из кожи вон лезу, чтобы только

вам угодить, честное слово. Если бы вы мне сказали, о чем говорить, я бы уж постарался.

– Дурак ты, – сказал сержант грустно. – Никогда ты не станешь констеблем. Я уже думаю, что лучше послушать деда, чем тебя. Ты крепко его держишь?

– Так точно. – ответил Шон.

– Ну, так пошли, и может быть, мы доберемся до казармы сегодня же ночью, если только у этой дороги вообще есть конец. Что это было? Слышали шум?

– Я ничего не слышал. – ответил Шон.

– Мне показалось, – сказал другой полицейский, – я слышал что-то в кустах на обочине дороги.

– Вот и я слышал. – сказал сержант. – Наверно, хорек. Хотел бы я, черт подери, выбраться уже из этого проклятого места, где не видно дальше кончика носа. Вот сейчас ты слышал, Шон?

– Так точно, – ответил Шон, – там в кустах кто-то есть, потому что хорек бы шумел не так, если бы вообще как-то шумел.

– Ближе друг к другу, ребята, – скомандовал сержант, – и шагом марш; если здесь кто-то и есть, то нам до них дела нет.

Не успел он договорить, как внезапно раздался топот ног, и в то же мгновение четверо полицейских оказались окружены, и со всех сторон их лупили палками, руками и ногами.

– Дубинки к бою! – проревел сержант, – Шон, крепко держи этого типа!

– Слушаюсь, – ответил Шон.

– Встаньте вокруг него, ребята, и бейте все, что подойдет близко!

Голосов нападающих слышно не было, только быстрый топот ног, свист палок, ловко попадающих в большие тела или стучающихся друг о друга, и учащенное дыхание множества людей; четверо же полицейских производили немало шума, с яростным энтузиазмом отчаянно отбиваясь со всех сторон и проклиная темноту и своих противников.

– Осади! – крикнул вдруг Шон. – Осади, а то тыкву разобью! Кто-то тянет у меня арестованного, а я уронил дубинку!

Полицейские работали дубинками так резво, что их противники исчезли так же быстро и таинственно, как появились. Две минуты яростной слепой драки – и вокруг снова царило молчание ночи без единого звука, за вычетом лишь тихого скрипа ветвей, шелеста листвы и лепета ветра над дорогой.

– Пошли, ребята, – сказал сержант. – Надо выбраться отсюда как можно быстрее. Кто-нибудь ранен?

– Я схватил одного из врагов, – сказал Шон, тяжело дыша.

– Что ты схватил? – переспросил сержант.

– Я схватил одного из них, и он выворачивается, как угорь на сковороде.

– Держи же его как следует, – сказал сержант обрадованно.

– Слушаюсь, – ответил Шон. – На ощупь он маленький. Если кто-нибудь из вас подержит арестованного, я ухвачу этого получше. Ну и народец тут! головорезы просто, верно?

Другой полицейский взял за руку Философа, а Шон обеими руками ухватил своего пленника.

– Тихо ты, тебе говорят! – сказал он. – А то сейчас стукну, честное слово. Ё-мое, на ощупь это как будто мальчишка!

– Мальчишка? – переспросил сержант.

– Ну да, он мне до пояса не достает!

– Должно быть, тот щенок из дома, что спустил на нас собак – который зверей любит. Ну, парень, и что ты хотел этим сказать? Ты ведь за это в кутузку пойдешь, малой! Кто с тобой был? Отвечай! – и сержант нагнулся к пленнику.

– Подними голову, сынок, и отвечай сержанту! – сказал Шон. – Ой! – вскрикнул он, и тут же дернулся вперед. – Держу, держу, – успокоил он. – Чуть не вырвался! Это никакой не мальчишка, сержант – у него усы!

– Что такое? – переспросил сержант.

– Я взял его за подбородок, а там усы! Я чуть его не выпустил от удивления, честное слово.

– Попробуй еще раз, – сказал сержант потише. – Ты ошибаешься.

– Не буду я его трогать, – сказал Шон. – Мягкие такие усы, как у козла. Хотите, сами потрогайте, сержант, а мне что-то не хочется.

– Возьми его вот здесь, – сказал сержант, – и хорошенько держи.

– Слушаюсь, – ответил Шон и подвел к своему начальнику что-то, отчаянно сопротивляющееся.

Сержант протянул руку и дотронулся до головы.

– Да, ростом он и точно с мальчишку, – сказал сержант, провел рукой вниз по лицу и тут же отдернул руку. – И вправду у него усы, – сказал он твердо. – Что за чертовщина? Никогда еще я не встречал усы так близко от земли. Может, они поддельные, и парень просто прикидывается?

Сержант снова протянул руку, не без усилия над собой, нащупал подбородок и дернул. Тотчас же раздался крик, такой громкий и внезапный, что все полицейские подпрыгнули от страха.

– Настоящие усы, – сказал сержант со вздохом. – Хотел бы я знать, в чем тут дело. Головина у него, как у двух мужиков, это факт. У тебя не найдется еще спички?

– У меня в кармане плаща остались еще две, – ответил один из полицейских.

– Дай-ка одну мне. – сказал сержант. – Я сам зажгу.

Он пошарил вокруг себя и нащупал руку со спичкой.

– Смотри, Шон, держи его хорошенько, чтобы мы его как следует разглядели, потому что это что-то уж совсем занятное.

– Я держу, двумя руками, – ответил Шон, – он может только головой вертеть, а на голову я ему навалился грудью.

Сержант зажег спичку, заслонив ее на мгновение рукой, а потом повернул ее на своего нового пленника.

Они увидели маленького человечка, одетого в узкую зеленую одежду; у него было широкое бледное лицо с вытаращенными глазами, а под подбородком висели тонкие длинные седые усы – и тут спичка погасла.

– Это лепрекан, – сказал сержант.

Пару минут полицейские стояли молча; наконец, Шон заговорил:

– Вы так думаете? – спросил он недоуменно. – Да это уж само по себе занятно!

– Да, я так думаю. – ответил сержант. – Неужели не ясно, что это так и есть? Ты же сам его видел.

Шон опустился перед своим пленником на колени.

– Где деньги? – зашипел он. – Говори, где деньги, а не то шею сверну!

Остальные полицейские тоже сгрудились вокруг них, угрожая лепрекану и допрашивая его.

– Отвалите вы, – рявкнул на них Шон. – Он же не может ответить вам всем! – и он снова повернулся к лепрекану и встряхнул его так, что у того шелкнули зубы. – Не скажешь, где деньги – пришибу, честное слово!

– У меня нет денег, сэр, – сказал лепрекан.

– Не надо песен! – взревел Шон. – Говори правду, а то хуже будет!

– У меня нет никаких денег, – повторил лепрекан, – потому что Михаул МакМурраха с Горы на днях выкрал наш золотой горшок и зарыл его под терновым кустом. Я могу привести вас туда, если не верите.

– Прекрасно, – сказал Шон, – Пошли! И только мне рыпнись – сразу огрею дубинкой, понял?

– Зачем мне рыпаться? – ответил лепрекан, – мне с вами нравится.

Тут сержант крикнул со всей силы:

– Смир-р-на! – и полицейские мгновенно построились, как солдатики. – Что это ты там собрался делать с арестованным, Шон? – спросил сержант. – Ты что думаешь, одной ночи шатания по этим дорогам нам мало? Лепрекана доставить в казарму, а не то хуже будет тебе – слышишь ты меня?

– А золото, сержант? – протянул Шон.

– Если какое-то золото и есть, то оно считается кладом и принадлежит короне. Хороший же из тебя вышел бы констебль, Шон! Приди в себя, и хватит болтовни. Шаг вперед! Возьми убийцу – кто там из вас его держит?

Тут из темноты раздался вскрик:

– Ой-ой-ой! – воскликнул голос, полный ужаса.

– Что там случилось? – спросил сержант, – ты ранен?

– Арестованный! – выговорил полицейский, – он – он бежал!

– Бежал? – переспросил сержант страшным голосом.

– Пока мы смотрели на лепрекана, – ответил обреченным голосом полицейский, – я, должно быть, забыл о первом – я... я его упустил...

– Ах ты... – плюнул сержант.

– Мой арестованный сбежал?! – переспросил Шон тихо.

Выругавшись, он бросился вперед и нанес своему ничего не ожидавшему товарищу такой удар в лицо, что тот упал на спину, и все услышали, как он стукнулся головой о дорогу.

– Вставай! – крикнул Шон, – Вставай, я тебе еще добавлю!

– Этого хватит, – сказал сержант, – пошли домой. Весь свет над нами смеяться будет. Когда-нибудь вы все мне за это ответите, все до единого. Бери своего лепрекана и шагом марш!

– Ой, – сказал Шон и зажал себе рот.

– Что еще там? – спросил сержант.

– Ничего. – ответил Шон.

– Что же ты тогда ойкаешь, болван?

– Да лепрекан, сержант, – прошептал Шон, – он сбежал... Пока я бил морду вон ему, я совсем забыл про лепрекана: он, наверно, убежал в кусты. Ох, сержант, прошу вас, не говорите мне ничего...

– Шагом марш! – скомандовал сержант, и четверо полицейских тронулись в темноте и полном молчании, которое было не толще мыльного пузыря.

Глава XV

Вследствие долгих лет, проведенных в сумрачном сосновом бору, Философ немного видел в темноте, и когда он обнаружил, что никто уже не держит его за одежду, он тихо продолжил свое путешествие, опустив голову на грудь, погруженный в глубокую задумчивость. Он медитировал на слове "Я" и собирался подвергнуть его всем возможным изменениям и приключениям. Факт "я-ности" поражал его. Он изумлялся своему собственному существу. Он сознавал, что рука, которую он поднял и ущипнул другой рукой, не была им самим; а стремление понять, что же есть он сам, нередко занимало его досуг. Философ не прошел много, как вдруг его потянули за рукав, и, взглянув вниз, он увидел рядом с собой одного из лепреканов с Горта.

– Почтенный сэръ, – сказал лепрекан, – с вами ужасно трудно общаться. Я уже очень давно говорю с вами, а вы не слышите.

– Я слушаю вас, – ответил Философ.

– Наконец-то! – обрадовался лепрекан. – Мои братья ждут в кустах на обочине, вон там,

и они хотят побеседовать с вами: почтенный сэр, вы не согласитесь пройти со мной?

– Почему же нет? – ответил Философ, и свернул за лепреканом.

Они вдвоем пролезли в просвет между кустами и вышли в поле за ними.

– Вот сюда, сэр, – сказал проводник, и Философ пошел за ним по полю. Через несколько минут они пришли к большому кусту, в котором скрывались остальные лепреканы. Они выскочили навстречу Философу и поприветствовали его, всячески выказывая свою радость. С ними была Тощая Женщина с Инис-Маграта; она нежно обняла мужа и поблагодарила небо за его освобождение.

– Ночь еще молода, – заметил один из лепреканов. – Давайте присядем и обсудим все, что надлежит сделать.

– Я несколько устал, – сказал Философ, – потому что путешествовал весь вчерашний день, весь сегодняшний, и всю ночь я опять на ногах, так что я был бы рад куда-нибудь присесть.

Они уселись под кустом, и Философ разжег свою трубку. На открытом месте было достаточно светло, чтобы видеть кольца дыма из трубки, но не более. Фигуру можно было различить только как тень более темную, чем окружающий ее мрак; но земля была сухой, а воздух лишь приятно прохладным, и сидеть было удобно. Сделав несколько затяжек, Философ передал свою трубку сидевшему рядом с ним, и так трубка обошла всю компанию.

– Я уложила детей, – сказала Тощая Женщина, – и пошла за тобой по дороге с горшком каши, ведь ты не успел даже поужинать, Господь тебе помоги, и я подумала, что ты, наверно, голоден.

– Так и есть, – сказал Философ очень прочувствованно, – но я не виню тебя, дорогая, за то, что горшок разбился по дороге.

– По пути, – продолжала женщина, – я встретила с этими добрыми людьми, и когда я рассказала им, что случилось, они пошли со мной, чтобы посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать. Когда они выбежали из кустов и напали на полицейских, я хотела быть с ними, но боялась, что уроню кашу.

Философ облизнулся.

– Я слушаю тебя, любимая, – сказал он.

– Поэтому я осталась, где была, с кашей, накрытой шалью...

– Так значит, ты споткнулась, женушка?

– Да вовсе нет, – ответила она. – Каша у меня с собой. Наверно, она чуть остыла, но это лучше, чем ничего. – И она дала ему в руки горшок. – Я положила в нее сахар, – застенчиво сказала она, – и смородину, а ложка у меня в кармане.

– Вкусно, – сказал Философ и очистил горшок так быстро, что жена заплакала, видя его голод.

К этому времени трубка вернулась к нему снова и пришлась очень кстати.

– Теперь мы можем поговорить, – сказал Философ, выпустил в темноту большой клуб дыма и счастливо вздохнул.

– Мы решили, – сказала Тощая Женщина, – что некоторое время ты не сможешь вернуться к нам домой: полицейские долго еще будут шарить по Койлле-Дорака, это уж наверняка; ведь верно же, что кому подвалит счастья, того никто не бросается искать, а вот если человеку выпало что-то дурное или какое-нибудь наказание, то весь мир его разыскивает, пока не найдет.

– Это утверждение истинно, – сказал Философ.

– Вот мы и придумали вот что: ты должен пожить с этими человечками в их доме под тисом на Горте. Ни один полицейский на свете не найдет тебя там; или, если ты ночью отправишься к Бругу на Бойне²¹, сам Ангус Óг даст тебе убежище.

Здесь вмешался один из лепреконов:

– Почтенный сэр, – сказал он, – в нашем домике не так много места, но в нем нет недостатка в гостеприимстве. Вам понравится прогуливаться с нами лунными ночами и наблюдать разные необычные вещи, ибо мы часто ходим в гости к Ши из Холмов, и они приходят к нам; нам всегда есть о чем поговорить, а еще мы устраиваем танцы в пещерах и на вершинах холмов. Не думайте, что жизнь наша бедна, потому что у нас есть и веселье, и изобилие; а до бруга Ангуса Мак ан Óга добраться нелегко.

– Танцевать мне бы понравилось, – ответил Философ, – потому что я считаю, что танец есть первая и последняя обязанность человека. Если мы не можем веселиться – что же мы тогда такое? Жизнь совершенно бесполезна, если в ней не найдется то тут, то там веселого смеха – но на этот раз, достойные жители Горты, я не могу пойти с вами, потому что мне надлежит сдать полицию.

– Ты не сделаешь этого! – воскликнула в испуге Тощая Женщина. – Даже не думай об этом!

– Невинного человека, – ответил Философ, – нельзя покорить, потому что дух его крепок и его сердце дает ему силы. Только на виновного может пасть тяжесть наказания, ибо он сам наказывает себя. Вот что я думаю: человек должен всегда подчиняться закону телом и никогда не подчиняться ему душой. Я был арестован, представители закона держали меня в руках, и я должен вернуться к ним, чтобы они смогли сделать со мной все, что должны сделать.

Философ снова взялся за трубку, и хотя все очень долго убеждали его и спорили с ним, они так и не смогли заставить его отказаться от своего решения. Поэтому, когда бледный проблеск рассвета прокрался в небо, они поднялись и отправились на перекресток, а оттуда – к полицейскому участку.

На краю деревни лепреканы пожелали Философу всего доброго, и Тощая Женщина попрощалась с ним, сказав, что отправится к Ангусу Óгу и попросит помощи от имени своего мужа; а потом лепреканы и Тощая Женщина вернулись туда, откуда пришли, а Философ пошел к казарме.

Глава XVI

Философ постучался в дверь казармы, и ее открыл человек с нечесанными рыжими волосами, выглядевший так, будто он только что проснулся.

– Чего надо в такую рань? – спросил он.

21 Бруг (ирл. “курган”) на реке Бойн – жилище Ангуса Óга.

– Я хочу сдать полиции. – ответил Философ.

Полицейский оглядел его:

– В твоём-то возрасте, – сказал он, – стыдно уже дурить. Мой тебе совет: ступай домой и никому ничего не говори. А теперь скажи мне – что-то уже вскрылось, или ты хочешь облегчить душу?

– Я же говорю: я хочу сдать. – сказал Философ.

– Ну, охота пуще неволи. Тогда и дело с концом. Вытирай ноги на крыльце и заходи, я запишу твои признания.

– У меня нет для вас никаких признаний, – сказал Философ, – так как я ничего не сделал.

Полицейский снова поглядел на него.

– А если так, – сказал он, – то нечего было и приходить, и нечего было будить меня. Стой, а ты не тот, который подрался с разносчиком на Нэсской дороге, нет?

– Никоим образом, – ответил Философ. – Меня арестовали за убийство моего брата и его жены, хотя я к нему не причастен.

– Ах, вот ты кто! – сказал полицейский и расцвел: – Да тебя здесь заждались, как не знаю кого, честное слово! Заходи, будь, как дома, пока наши не проснулись, а уж они-то как тебе обрадуются! Ни уха, ни рыла не понял я в том, что они вчера несли, когда вернулись, да и никто ничего не понял, потому как они только лаялись между собой и кляли всех банши и клуриканов Лейнстера, на чем свет стоит. Садись в кресло у очага и, если хочешь, сосни немного; вид у тебя уж совсем усталый, и грязь всех графств Ирландии на твоих башмаках.

Философ поблагодарил полицейского и вытянулся в кресле. Через короткое время – ибо он очень устал – Философ заснул.

Спустя некоторое время его разбудили голоса, и, проснувшись, он увидел возле своего ложа полицейских, что арестовали его накануне вечером. Лицо сержанта сияло радостью. Он успел надеть только штаны и рубашку. Волосы его торчали в разные стороны, что придавало ему несколько дикий вид, и он стоял босиком. Он взял Философа за руки и поклялся, что если он только сможет что-нибудь сделать для него, то сделает все и даже больше. Шон, такой же неодетый, приветствовал Философа и объявил себя его другом и последователем на веки веков. Далее Шон заявил, что не верит, будто Философ убил двух человек, а если и убил, то они наверняка весьма того заслуживали, и что если Философа повесят, то он посадит цветы на его могиле; ибо более достойного, мирного и мудрого человека на свете он не встречал и никогда не встретит.

Эти похвалы пришлись Философу по сердцу, и он ответил на них такими словами, которые заставили рыжего полицейского раскрыть рот от изумления и признательности.

Философу подали завтрак из хлеба и какао, который тот разделил со своими стражниками, а потом, поскольку тем нужно было приступать к своим обязанностям на улице, Философа отвели на двор и сообщили ему, что здесь он может гулять и курить хоть до почернения. Полицейские наперебой предложили ему трубку, табакерку, две коробки спичек и словарь, а затем удалились, предоставив его самому себе.

Дворик имел примерно двенадцать футов в длину и столько же в ширину, окруженный со всех сторон высокими гладкими стенами, за которые не проникало ни солнце, ни ветер. В

одном углу по стене взбирался чахлый душистый горошек – каждый листик его был изъеден дырочками, и цветов на нем не было. Другой угол занимали карликовые ноготки, и у этого растения, несмотря на все уныние, цвели два цветка, но листья у него тоже были рваные и пожухлые. Густой плющ оплел третий угол, и наверху его крупные листья лоснились, но у земли лишь голые серые стебли его оплетала паутина. Четвертую стену затянул дикий виноград, каждый лист которого казался насекомым, готовым вот-вот поползти по стене. Центр этого цветника использовал все мыслимые возможности, чтобы покрыться травой, и местами чудесно преуспел в этом, но столько осколков бутылок, консервных банок и черепков было там, что трава его никак не могла не быть вялой и чахлой.

Там Философ долгое время расхаживал взад-вперед. Он осмотрел душистый горошек и посочувствовал его несчастной жизни. Затем он поздравил ноготки с двумя прелестными детьми; но мысль о садах, в которых они могли бы цвести, и воспоминание о своей собственной солнечной, просторной свободе опечалило его.

– Воистину, бедные создания, – сказал он, – ведь и вы – в тюрьме.

Пустой безмолвный дворик вывел Философа из равновесия настолько, что в конце концов он позвал рыжего полицейского и попросил уж лучше увести его отсюда; и по его просьбе Философа препроводили в общую камеру.

Это был тесный подвал. Железная решетка над стеной пропускала немного света, но все помещение скрывалось во мраке. К отверстию в потолке вела деревянная лестница, и это отверстие тоже пропускало в камеру немного света и свежего воздуха. Стены были каменные, оштукатуренные, но во многих местах штукатурка обвалилась, обнажив повсюду, куда ни падал взгляд, грубо отесанные камни.

В камере сидели двое, и Философ поздоровался с ними; но те не ответили ему, да и друг с другом они не разговаривали. Вдоль почти всей стены шла низкая деревянная приступка, и на ней эти двое сидели, сторонясь друг друга, уперев локти в колени и обхватив голову руками, вперив взгляды в пяточек пола между ногами.

Философ походил взад-вперед по камере, но скоро тоже присел на деревянную приступку, подпер руками голову и погрузился в невеселый сон.

Так прошел день. Дважды по лестнице спускался полицейский, неся три порции еды, хлеба и какао; неуловимыми долями свет из-за решетки угас и наступила тьма. Спустя долгое время снова пришел полицейский с тремя матрацами и тремя грубыми одеялами и бросил их в отверстие. Каждый из заключенных взял матрац и одеяло и постелил их на полу, и Философ тоже взял то, что ему полагалось.

К этому времени они уже не видели друг друга и проделывали все только на ощупь. Заключенные улеглись на постели, и камера погрузилась в страшное, черное безмолвие.

Однако Философ не смог заснуть. Он закрыл глаза, потому что темнота под веками была не такой густой, как та, что окружала его; более того, по воле он мог расцветить свою собственную темноту и создать вокруг себя солнечные дороги или звездное небо. За закрытыми глазами он управлял всевозможными картинками света, цвета и тепла, но непреодолимое побуждение заставляло его то и дело открывать глаза, а в тоскливой внешней пустоте он не мог сотворить никакого счастья. Темнота так тяжело навалилась на него, что через какое-то время проникла и под его закрытые веки и затопила его радостные картины, и мрак завладел им и изнутри, и снаружи...

– Возможно ли заключить в тюрьму не только тело, но и дух? – спросил Философ.

Он изо всех сил пытался вернуть себе душевную свободу, но не мог. Никакие видения не выколдовывались у него, кроме видений страха. Исчадия мрака захватили его, фантастические ужасы толпились повсюду: они из темноты проникали в его глаза и далее вглубь его существа, и так дух его, вслед за фантазией, оказался в плену; Философ понял, что он действительно попал в тюрьму.

С огромным изумлением Философ вдруг услышал голос, разговаривающий в тишине – огрубевший, но владеющий собой голос – и никак не мог понять, кто из его соседей говорит. Ему привиделся этот человек, чей ум мучится, заключенный во мраке, силясь вырваться из объятий призраков и скользких врагов, побуждая себя к речи против воли, чтобы не потонуть и не подпасть окончательно под власть демонов бездны. Некоторое время голос рассуждал о превратностях жизни и о жестокости людей к своим ближним – бессвязные фразы, бессмысленные слова жалости к себе – а затем речь стала более связной, и в темной камере развернулась такая история:

– Я знал одного человека, – заговорил голос, – он служил в конторе. Он получал тридцать шиллингов в неделю и за пять лет ни разу не прогулял ни единого дня. Это был очень бережливый человек, но, имея жену и четырех детей, трудно разбогатеть с тридцати шиллингов в неделю. Плата за жилье высока, жену и детей надо кормить, к тому же им нужно покупать обувь и одежду, так что к концу недели тридцать шиллингов обычно исчезали начисто. Но как-то они жили, тот человек и его жена, и четверо детей всегда были накормлены, одеты и учились в школе, и человек этот часто удивлялся, как это удается столько всего сделать на такие маленькие деньги; а причина была в том, что его жена была бережливая хозяйка...

А потом тот человек заболел. Бедный человек не может позволить себе болеть, а жена-тый человек не может не работать. И если уж он заболел, то ничего не поделаешь; но на работу надо ходить все равно, потому что если он останется дома, кто будет платить ему зарплату и кормить его семью? А когда он вернется на работу, то может так оказаться, что ему там больше нечего делать. Тот человек чувствовал себя неважно, но не переменил в своей жизни ничего: вставал в то же время, что и раньше, ходил на службу, как обычно, и работал там весь день так, что начальник не обращал на него внимания. Человек не знал, что с ним случилось: он только знал, что он болен. Иногда у него начинались острые головные боли, а иногда на долгие часы его охватывала такая слабость, что он едва мог поднять перо. Он начинал письмо словами "Уважаемый сэр", выписывая букву "У" с мучительной, аккуратной медлительностью, тщательно кладя толстые и тонкие вертикальные и горизонтальные линии и штрихи, с недовольством переходя от этой буквы к следующей; следующую он писал бегло, а к третьей приступал с отвращением. Конец слова казался этому человеку похожим на конец какого-нибудь дела – он был неожиданный, самостоятельный, самооценный, не зависящий ни от чего на свете; а начиная новое слово, этот человек чувствовал себя обязанным сохранить его индивидуальность, написать его другим письмом. Так он сидел, втянув голову в плечи, уронив перо на бумагу, и смотрел на букву, пока она совсем не гипнотизировала его, а затем вдруг приходил в себя, страшно пугался и начинал работать, как безумный, чтобы поспеть в срок. День казался ужасно длинным. Он крутился на пыльных, едва вращающихся шарнирах. Час за часом, словно огромные шары, надутые спертым воздухом, монотонно гудя, уплывали в вечность. Человеку казалось, что особенно хочет отдохнуть его рука. Не работать рукой было блаженством. Приятно было положить ее на лист бумаги с пером, зажатым между пальцами, и смотреть, как рука засыпает – человеку казалось, что это не ему, а его руке хочется спать – но рука всегда просыпалась, когда перо выпадало из пальцев. Инстинкт не давал человеку уронить перо, и всякий раз, когда перо начинало выскользывать, рука просыпалась и начинала намер-

стывать время. Вечером человек приходил домой, ложился и часами смотрел на муху на стене или на трещину в потолке. Когда его жена говорила с ним, он слышал ее голос словно с большого расстояния и отвечал ей блеклым голосом, будто говорил сквозь вату. Он хотел только, чтобы его оставили в покое и дали посмотреть на муху на стене или на трещину в потолке.

Однажды утром этот человек обнаружил, что не может встать — или, точнее, что не хочет вставать. Жена позвала его, он не ответил, и она стала окликать его каждые десять секунд — слова "вставай, вставай!" лопались вокруг него; они взрывались, как бомбы, справа и слева: они сыпались сверху и вокруг, подскакивали с пола, свистели и прыгали, толкая друг друга. Потом слова пропали, и голос сказал ему только одно: "Ты опоздал!" Человек увидел эти слова облаком, висящим в пустоте под его веками, и он смотрел на это облако, пока не заснул.

Голос на некоторое время умолк, а потом заговорил снова.

— Три недели тот человек не вставал с постели — он пребывал в каком-то оцепенении, и большие тени медленно двигались в его сне, и огромные слова постоянно гремели и стихали. Когда он снова начал осознавать, что происходит вокруг, в доме все переменялось. Большая часть мебели, оплаченной с таким трудом, исчезла. Везде чего-то не хватало — стульев, зеркала, стола; куда ни глянь, везде чего-нибудь не хватало; а внизу было еще хуже — там исчезло все. Жена его продала всю мебель, чтобы заплатить врачам, оплатить лекарства, еду и жилье. И сама она тоже переменялась: доброта сошла с ее лица; она исхудала, черты лица огрубели и стали резкими, глаза — печальными; но ее согревала мысль, что скоро ее муж вернется на работу.

На душе у человека кошки скребли, когда он шел на службу. Он не знал, что-то скажет его начальник по поводу прогула. Начальник может поставить ему болезнь в вину — неизвестно, заплатит ли он ему за те недели, что его не было? Встав перед дверью, человек испугался. Вдруг сама мысль о взгляде начальника стала ему ужасна: немигающий, холодный, стеклянный взгляд; но человек открыл дверь и вошел. Начальник был там с каким-то другим человеком, и наш человек попытался сказать "Доброе утро, сэр" спокойным и естественным голосом; но он знал, что этот незнакомец принят вместо него, и это знание встало между его мыслью и языком. Он услышал свой заикающийся лепет, почувствовал, как внутри все оборвалось и рухнуло. Его начальник что-то быстро говорил ему, а тот, другой, смотрел на него встревоженно, искоса и виновато: казалось, он взглядом просит прощения за то, что занял его место — и наш человек выговорил "До свиданья, сэр" и вышел наружу.

Выйдя, он не мог решить, куда пойти. Спустя некоторое время он пошел в направлении небольшого парка в центре города. Это было неподалеку, и он присел на железную скамейку у пруда. Там у воды гуляли дети и кормили лебедей хлебом. То и дело быстро проходил мимо рабочий человек или курьер; время от времени бесцельно плелся куда-то пожилой нищий; иногда какая-нибудь оборванная женщина с красным лицом, погруженная в себя, ковыляла рядом с ним. Глядя на этих невеселых людей, он подумал вдруг, что они вовсе не гуляют; они идут через ад, и их глаза в отчаянии видят вокруг лишь дьяволов... и он никак не мог придумать, что же сказать жене по возвращении домой. Он сотню раз повторил про себя приказ об увольнении. Как смотрел на него начальник, что сказал; а потом те блестящие саркастические слова, которые он сказал начальнику в ответ. Он просидел в парке весь день, а когда спустился вечер, он пришел домой, как приходил обычно.

Жена спросила, как дела, и есть ли хоть какой-нибудь шанс получить деньги за недели отсутствия; человек с готовностью ответил ей, поужинал и лег спать; но он не сказал жене, что его уволили и что никаких денег в конце недели не будет. Он попытался рассказать ей все, но

когда она смотрела на него, он не мог выговорить ни слова — он боялся того, каким станет ее лицо, когда она услышит обо всем — она, пораженная ужасом, в этих оголенных комнатах!..

Утром тот человек позавтракал и ушел — на работу, как думала его жена. Она велела ему спросить начальника про плату за три недели, потому что им не на что уже покупать еду. Он сказал, что постарается, но отправился сразу в парк и, сев напротив пруда, глядел на прохожих и дремал. В середине дня он вдруг в панике поднялся и пошел по городу, спрашивая о работе в учреждениях, лавках, на складах — везде, но нигде не нашел ничего. Волоча ноги, он снова вернулся в парк и сел на скамейку.

В тот вечер он еще что-то солгал жене про свою работу и про то, что сказал начальник, когда он спросил его о зарплате. Он вздрагивал, когда дети дотрагивались до него. Посидев немного, он улизнул в постель.

Так прошла неделя. Человек больше не искал работу. Он сидел в парке и дремал, обхватив голову руками. На завтра он должен был получать деньги. Завтра! Что скажет жена, когда он объявит, что денег нет? Ведь она уставится на него, густо покраснеет и спросит: «Разве ты не ходил на работу каждый день?» Что сказать ей тогда, чтобы она все поняла и избавила его от дальнейших слов?

Настало утро, и человек позавтракал в полном молчании. К хлебу не было масла, и его жена, казалось, извинялась перед ним за это. Она сказала: «Ну, уж с завтрашнего дня-то мы заживем», а когда он злобно стукнул кулаком по столу, она подумала, что это из-за того, что ему пришлось есть хлеб всухомятку.

Человек пошел в парк и просидел там много часов. То и дело он вставал и выходил на соседнюю улицу, но каждый раз возвращался через полчаса или около того. Обычно он шел домой в шесть часов вечера. Настало шесть часов, но он не тронулся с места, так и остался сидеть напротив пруда, уронив голову на руки. Прошел еще час. В девять часов зазвонил колокольчик сторожа, и надо было уходить. Человек тоже пошел. Он встал за воротами парка, глядя по сторонам. Куда идти? Все дороги были для него равны, поэтому он наконец повернулся и пошел куда-то. Домой он в тот вечер не пришел. Он никогда больше не вернулся домой. Во всем мире о нем больше никогда не слышали.

Голос умолк, и тишина воцарилась в маленькой камере. Философ внимательно выслушал всю историю и через несколько минут заговорил:

— Дальше по большой дороге будет поворот налево, и вся аллея за тем поворотом засажена деревьями — а на деревьях птицы, славен будь Господь! В той аллее стоит лишь один дом, и в нем женщина налила нам молока. У нее один сын, славный мальчуган; она сказала нам, что остальные дети умерли. Она рассказывала о муже, который ушел и бросил ее — "С чего ему бояться возвращаться домой?" — говорила она, — "Ведь я же люблю его!"

Чуть помолчав, голос отозвался:

— Не знаю, что случилось с тем человеком, о котором я говорил. Я вор, и меня хорошо знает вся полиция. Не думаю, что того человека радостно примут в том доме, потому что — с чего бы?

Другой, дребезжащий голос послышался из темноты:

— Если бы я знал такое место, где меня приняли бы с радостью, я бы побежал туда со всех ног, но я не знаю такого места, и никогда не узнаю, потому что кому какой толк от человека в моем возрасте? Я тоже вор. Первое, что я украл, была курица с маленького двора. Я

зажарил ее в овраге и съел, а потом украл еще одну и съел ее, а потом крал все, что плохо лежало. Наверно, я буду воровать, пока живу, и подохну в канаве с лягавыми на хвосте. Было время – да не так уж и давно! – когда, если бы мне сказали, что я буду воровать, хотя бы и с голоду, я бы рассердился донельзя; а теперь какая разница?.. А причина того, что я ворую, в том, что я состарился и не заметил этого. Другие заметили, а я – нет. Мне кажется, старость приходит так постепенно, что ее редко замечают. Если на лице морщины – мы не помним, что их там не было; мы приписываем все наши немощи сидячему образу жизни, а лысых, говорим мы, много и среди молодых. Если человеку не приходится часто называть свой возраст, и сам он никогда не думает о нем, он не заметит десяти лет разницы между молодостью и старостью, ведь мы сейчас живем в тихое, медленное время, и ничего не случается, ничто не отмечает проходящие годы, один за другим все они одинаковы.

Много-много лет я жил в одном доме, и там росла маленькая девочка, дочка хозяйки. Она очень ловко ездила по перилам и очень плохо играла на пианино. И то, и другое не раз бесило меня. По утрам и по вечерам она приносила мне завтрак и ужин и нередко оставалась поболтать со мной, пока я ел. Это была очень болтливая девочка, да я и сам был разговорчив. Когда ей исполнилось восемнадцать или около того, я уже привык к ней так, что если завтрак мне приносила ее мать, то весь мой день шел наперекосяк. Личико у девочки было ясное, как солнце, и ее широкие, ленивые, беззаботные жесты и девчоночий лепет были приятны человеку, который свое одиночество замечал только в ее обществе. С тех пор я часто размышлял обо всем этом, и мне кажется, что именно так все и началось. Она выслушивала мое мнение обо всем и соглашалась с ним, ведь своего у нее еще не было. Она была хорошая девушка, только ленивая умом и телом; ну, ребенок. Речь ее была такой же, как ее повадки: она все время словно каталась по перилам; мысли ее закручивались, говорила она рывками, перескакивая с одного предмета на другой без малейшего различия, и могла говорить очень долго и не сказать ровным счетом ничего. Я все это замечал и видел, но, думаю, мне слишком нравился мой собственный острый деловой ум, и я слишком устал – хотя тогда я еще не понимал этого – от своих остроумных деловых компаньонов... Бог ты мой! а ведь я всех их помню. Иметь голову на плечах, как они это называют, очень легко, но нелегко достичь хоть чуточки веселости, беззаботности, ребячества или что уж там у нее было. К тому же, приятно чувствовать себя выше кого-то, хотя бы и выше маленькой девочки.

Однажды мне в голову пришла мысль: «Не пора ли остепениться?» Не знаю, откуда появилась такая идея; такие речи слышишь часто, и всегда кажется, что это относится к кому-то другому, однако, не знаю, что заставило задуматься об этом меня. Я повел себя глупо: я купил галстуков и всяческих воротничков, начал проглаживать свои брюки, кладя их на ночь под постель и лежа на них – мне в голову не приходило, что я в три раза старше ее. Я приносил домой для нее сладости, и ей это очень нравилось. Она говорила, что обожает сладости, и все время требовала, чтобы я тоже ел их с ней: ей нравилось обсуждать их вкус. У меня от них болели зубы, но я все равно покупал их, хотя я возненавидел сладости не меньше, чем зубную боль. Потом я попросил ее погулять со мной. Она охотно согласилась, и для меня это было нечто совершенно новое. На самом деле, пожалуй, даже восхитительное. После того раза мы гуляли вместе часто, и иногда встречали людей, которых я знал, молодых людей с моей службы и из других учреждений. Я смущался, когда, здороваясь со мной, иные из них подмигивали мне. Мне было приятно рассказывать девушке, кто они такие, чем занимаются и сколько получают: я мало о ком чего-то не знал. Я рассказывал ей о моем собственном положении на службе и о том, что говорил мне начальник днем. Иногда мы разговаривали о том, что пишут в вечерних газетах. Убийство, какая-нибудь деталь бракоразводного процесса, речь, произнесенная каким-нибудь политиком, или цены на бирже. Ей было интересно все, о чем можно было поговорить. А мне было приятно ее участие в разговоре. Шляпка каждой проходившей мимо

дамы доводила ее до вершин восхищения или ввергала в бездны презрения. Она рассказывала мне, кто из этих леди – карга, а кто – гусыня. С ее неумолкающего язычка я стал узнавать кое-что о человечестве, и, несмотря на то, что большинство людей казались ей забавными паяцами или великолепными, царственными принцами, я заметил, что она никогда не говорила ни о ком худого слова, хотя многие из тех, на кого падал ее взгляд, были совершенно обыденные люди. Пока я не начал гулять с ней, я не знал, что такое витрина магазина. Особенно витрина ювелирного магазина: в ней содержатся прелюбопытнейшие вещи! Она рассказывала мне, как носят тиару и подвески, и объясняла, какие мне следует покупать запонки – они должны были быть золотыми и с красными камнями; она показывала мне нитки жемчуга или бриллиантов, которые, как она считала, прелестно смотрелись бы на ней; а однажды она сказала мне, что я ей очень нравлюсь. Я очень обрадовался тогда; я пришел в восторг, но я был деловым человеком, и почти ничего не ответил ей. Я никогда не любил брать кота в мешке.

Два дня в неделю, в понедельник и четверг, она уходила куда-то на весь вечер, надев свое лучшее платье. Я не знал, куда она ходила, и не спрашивал – я думал, она ходит к своей знакомой, подружке или что-то в этом роде.

Время шло, и наконец я собрался попросить ее выйти за меня замуж. Я уже достаточно давно был знаком с ней, и она всегда была мила и прелестна. Мне нравилась ее улыбка, мне нравились ее манеры и послушность. Было и еще кое-что, что нравилось мне, чего я тогда не понимал, что-то вокруг нее, во всех ее движениях – грациозность, широта: я не задумывался об этом; но теперь я знаю, что это была ее молодость. Я вспоминаю, что когда мы гуляли вместе, она шла медленно, но дома она так и летала по лестницам: она порхала, я – нет.

Однажды вечером она оделась, как обычно, чтобы уйти, и постучала в мою дверь, спросить, не нужно ли мне чего-нибудь. Я сказал, что хочу кое-что ей сказать, когда она вернется, что-то очень важное. Она пообещала вернуться пораньше и зайти ко мне, и я улыбнулся ей, а она улыбнулась мне в ответ и съехала по перилам вниз. Кажется, с того вечера у меня больше не было поводов улыбаться.

После того, как она ушла, я получил письмо и по его виду и почерку понял, что это со службы. Я заинтересовался: с чего бы это мне вдруг написали письмо? Почему-то мне не хотелось его вскрывать... Это было мое увольнение по причине почтенного возраста, и в письме весьма вежливо выражалась надежда на мое дальнейшее благополучие. Под письмом стояла подпись Главного. Сперва я ничего не понял, а потом подумал, что это глупая шутка. Долго я сидел в своей комнате с совершенно пустой головой. Я смотрел в свою голову: в ней были огромные пустоты, которые одурающе гудели; широкие плавные движения, казалось, совершались в моей голове, и хотя я глядел на письмо в моей руке, на самом деле я пытался сосредоточить эти огромные, качающиеся пустоты у себя в голове, а слухом улавливал какое-то движение. Я прекрасно помню этот момент. Я стал ходить взад-вперед по комнате. Во мне зрела подспудная, подземная ярость. Помнится, пару раз я пробормотал «Как не стыдно!», а потом «Вздор какой-то!» Подумав о возрасте, я взглянул в зеркало, но смотрел я на себя изнутри, и увидел, что внутри я посерел и отяжелел. Казалось, я из-под какого-то тяжелого гнета смотрю на нечто, незнакомое мне. У меня было такое чувство, будто разжалась хватка, которой я держал себя долгое время, и чувство чего-то, утекающего из моей руки, было страшным несчастьем... Это незнакомое лицо в зеркале! какие морщины! на голове почти не осталось волос, да и те седые. Губы постоянно дрожат, глаза запали, маленькие и тусклые. Я отложил зеркало и сел у окна, глядя на улицу. На улице я ничего не видел: я просто смотрел в черноту. На душе у меня стояла черная ночь, и было так же тихо. С той стороны окна что-то ударило, порыв ветра с дождем; безотчетно я увидел это, и в мои мысли полил дождь, выбивая из них пузыри, а потом близость обморока привела меня в себя. Я не позволял себе думать, но то и

дело слово проносилось по огромным пустотам моего ума, свистя, как комета по небу, и взрываясь с оглушительным грохотом: «Уволен» – было одно слово, и «Старикашка» – другое.

Не знаю, как долго я сидел и наблюдал за полетами этих жутких слов, слушая лязг их столкновений, как вдруг что-то на улице отвлекло меня. Двое, девушка и молодой, стройный мужчина медленно приближались к дому. Дождь лил, как из ведра, но они, похоже, не обращали на это внимания. Возле поребрика стояла большая лужа, и девушка, ступая ловко, как кошка, обошла ее, а юноша на мгновение остановился перед ней. Он поднял руки, сжал кулаки, размахнулся ими и перепрыгнул через лужу. Потом они с девушкой встали над водой, очевидно, прикидывая, каков был прыжок. При свете фонаря я прекрасно видел их. Они прощались. Девушка поправила юноше воротничок, и пока ее рука лежала у него на плече, он вдруг резко и сильно обнял ее; они поцеловались и расстались. Юноша подошел к луже и встал возле нее, обернувшись на девушку, смеясь, а потом прыгнул в самую середину лужи и начал танцевать в ней, поднимая грязные брызги до колен. Девушка бросилась к нему, крича «Прекрати, сумасшедший!» Когда она вошла в дом, я запер дверь и не отозвался на ее стук.

За несколько месяцев у меня кончились все сбережения. Никакой работы найти себе я не смог, я был слишком стар; мне говорили, что им нужен человек помоложе. Платить за жилье стало нечем. Я снова вышел в мир, как ребенок – старый ребенок в новый мир. Я крал еду, еду, еду, повсюду и везде. Сперва меня всякий раз ловили. Часто отправляли в тюрьму; иногда отпускали; иногда били; но в конце концов я научился жить по-волчьи. Теперь, когда я ворую еду, меня ловят нечасто. Зато каждый день что-нибудь случается – тюрьма ли или мысли, где украсть курицу или ломоть хлеба. Я нахожу, что это хорошая жизнь, много лучше той, которую я вел почти шестьдесят лет, и у меня есть время думать обо всем...

Когда настало утро, Философа посадили в машину и повезли в большой Город, чтобы там предать суду и повесить. Таков был закон.

Книга VI. Путешествие Тощей Женщины и Счастливый Поход

Глава XVII

Способность Тощей Женщины с Инис-Маграта злиться была беспредельна. Она не принадлежала к тем ограниченным созданиям, которые, пропустив волну гнева, остаются тихими и мирными. Она умела хранить свою злость в тех пещерах вечности, которые открываются в каждой душе, и которые полнятся яростью и ненавистью, пока не приходит время наполнить их мудростью и любовью; ибо в движении жизни любовь стоит в начале и в конце всех вещей. Сперва, как улыбающееся дитя, любовь приходит и совершает мелкий и незаметный труд в скалах и песках сердца, открывая первые из тех дорог, которые вечно ведут внутрь; потом, покончив с дневной работой, любовь уходит и забывается. За нею налетают яростные ветра ненависти, чтобы, словно великаны и гномы, поработать среди чудовищных руин, стирая скалы и сглаживая дороги, пробитые внутрь; но когда завершается эта работа, снова возвращается в сиянии любовь, чтобы вечно жить в сердце человека, которое есть Вечность.

Прежде, чем Тощая Женщина могла заняться возвращением своего мужа с помощью ярости, она должна была очиститься посредством жертвы, называемой Прощение Врагов, и она совершила его, обняв лепреканов Горта и в присутствии солнца и ветра простив им преступление против ее мужа. Так она смогла обратить всю свою злобу на Карающее Государство, простив тех, кто действовал всего лишь подчиняясь давлению его inferнального гнета, каковой гнет есть Грех.

Покончив с этим, Тощая Женщина испекла три хлеба для своего путешествия к Ангусу Óгу.

Пока она пекла хлеб, дети, Шеймас и Бригид Бег, выскользнули в лес, чтобы поговорить друг с другом и подивиться необычным событиям.

Сперва они двигались очень осторожно, потому что не были полностью уверены, что полицейские совсем ушли, а не прячутся в темных углах, выжидая момента, чтобы наброситься на них и увести в тюрьму. Слово "убийство" было детям почти незнакомо, и тем более непонятно, что их собственный отец оказался рядом с ним. Это было страшное слово, и ужас его увеличивался из-за непостижимой связи его с отцом. Что натворил отец? Почти все его дела и привычки были известны детям наперечет, и все же, оказывается, существовало темное нечто, к которому он был причастен, сверкнувшее перед ними, страшное и неуловимое, как вспышка молнии. Они поняли, что это как-то связано с теми, другими отцом и матерью, тела которых извлекли из-под очага, но они знали, что Философ никогда плохого ничего им не сделал, и поэтому убийство представлялось им чем-то страшным, оккультным, лежащим за пределами их умственного горизонта.

Никто не выпрыгнул на них из-за деревьев, так что спустя немного времени они успокоились и пошли уже не так осторожно. На опушке соснового бора солнечный свет позвал их вперед, и, поразмыслив немного, они пошли дальше. Простор и свежий ветер развеяли их мрачные мысли, и очень скоро они уже принялись гоняться туда-сюда друг за другом.

Беготня постепенно привела их к дому Михаула МакМуррау, и там, задыхаясь, они повалились передохнуть под деревце. Это был куст терновника, и отдых под ним снова вернул

детей к мыслям об ужасном положении, в которое попал их отец. Мысль у детей не отделяется надолго от рук; дети думают руками столько же, сколько и головой. Им нужно делать то, о чем они говорят, чтобы сделать мысль зримой, и поэтому скоро Шеймас Бег пантомимой стал представлять приход полицейских в их дом. Земля под терновым кустом превратилась в очаг их домика; Шеймас и Бригид стали четверьма полицейскими, и через мгновение Шеймас уже яростно раскапывал землю дощечкой, чтобы найти зарытые тела. Покопавшись всего с несколько минут, он вдруг задел дощечкой за что-то твердое. Совсем немного времени понадобилось детям, чтобы расчистить предмет от земли, и каков же был восторг детей, когда они выкопали прелестный небольшой глиняный горшочек, до краев наполненный блестящей желтой пылью! Поднимая его, дети поразились его тяжести. Долгое время они играли с ним, пропуская тяжелую желтую пыль дождем сквозь пальцы и глядя, как она блестит на солнце. Наигравшись так, они решили отнести горшок домой, но, дойдя до Горта-на-Клока-Мора, так устали, что не смогли нести горшок дальше и решили оставить его у своих друзей лепреканов. Шеймас Бег постучал по стволу дерева тем стуком, которому дети научились у них, и в то же мгновение знакомый лепрекан вышел наверх.

— Мы тут принесли вам, сэр... — сказал Шеймас.

Больше он ничего не успел сказать, потому что едва лепрекан увидел горшок, он обхватил его руками и заплакал так громко, что его товарищи повыскакивали посмотреть, что с ним случилось, и они присоединились к его смеху и плачу, а дети добавили к этому хору свое сочувствие, так что весьма многоголосый шум поднялся над Гортом.

Но недолго лепреканы предавались чувствам. Почти сразу вслед за радостью пришли воспоминание и стыд; а затем — раскаяние, эта горестная добродетель, зарыдала в их ушах и в их сердцах. Как они могут благодарить детей, отца и защитника которых они предали мрачному правосудию людей? правосудию, которое требует не возмещения, но наказания; которое учится по Книге Вражды, а не по Книге Дружбы; которое ненависть зовет Естеством, а Любовь — сговором; чей закон — железная цепь, и чья милость — слабоумие и безразличие; слепому злодею, всех обвиняющему в своей слепоте; этому бесплодному лону, проклинающему плодородие; этому каменному сердцу, которое превращает в камень целые поколения людей; пред которым жизнь отступает, бледнея, и от которого смерть отшатывается, прячась в своей могиле. Раскаяние! лепреканы вытерли с лиц неуместную влагу и вместо того заплакали от радости. Большого они сделать не могли, поэтому они с любовью накормили детей и проводили их до дома.

Тошая Женщина испекла три хлеба. По одному она раздала своим детям, а один оставила себе, после чего все трое отправились в путешествие к Ангусу Огу.

Вышли в путь они изрядно пополудни. Свежесть и веселье утра уже прошло, и тираниствующее солнце разливало по миру свое почти невыносимое величие. Тени для путников было немного, и через некоторое время им стало жарко, они устали и захотели пить — то есть, дети; Тошую Женщину же удобо защищала от всех воздействий стихий, за исключением голода, от которого ни одно существо не свободно.

Она шагала посередине дороги вулканом тишины, думая одновременно двадцать разных мыслей, так что сильнейшее желание заговорить заставляло ее хранить жуткое молчание; но под этой корой молчания собиралась речь, которая должна была в конце концов вырваться или окаменеть. Из этого бурления мыслей поднимался первый глубинный рокот, предвестник грохота, и через мгновение прогремел бы гром ее злословия, но тут Бригид Бег заплакала: действительно, бедная девочка устала и спеклась до полусмерти, да и Шеймаса от такого же плача удерживали лишь две минуты мальчишеской гордости. Это отвлекло Тошую Женщину от ее

пылающих мыслей и, утешая детей, она забыла свои собственные заботы.

Необходимо было поскорее найти воду: не задача, потому что Тощая Женщина, будучи Естественной, как и другие существа, обладала способностью чувствовать близость воды, и она сразу повела детей немного в другом направлении. Через несколько минут они нашли природный колодец, и там дети вволю напились и утешились. Над колодцем всюду росло широкое многолистное дерево, и в тени этого дерева они присели и поели от своих хлебов.

Пока они отдыхали, Тощая Женщина дала детям советы по многим важным вопросам. Она разговаривала не с обоими сразу, но сперва говорила Шеймасу об одном, а потом Бригид о другом; потому что, как она сказала, то, что должен знать мальчик, вовсе не обязательно знать девочке. Очень важно, чтобы мужчина знал, как объезжать женщин, потому что это, наряду с добыванием пищи, основа мужской мудрости – и в этой науке Тощая Женщина наставляла Шеймаса. Однако столь же важно, чтобы женщина умела ставить мужчину на место – и этой науке Бригид вняла всем сердцем.

Тощая Женщина учила, что мужчина должен ненавидеть всех женщин, прежде чем он сможет полюбить женщину, но он волен, а точнее, даже попросту обязан любить всех мужчин, потому что они одного рода с ним. Женщина также должна любить всех других женщин и ненавидеть всех мужчин, кроме одного, а этого одного она должна стараться превратить в женщину; потому что женщина по велению своего естества должна быть либо рабом, либо тираном, а ей лучше быть тираном, чем рабом. Тощая Женщина объяснила, что между мужчиной и женщиной идет непрерывная война, и что цель каждого пола – подчинить себе противоположный; но женщина одержима демоном, зовущимся Жалость, который страшно мешает ей в битве и вечно отдает победу мужчине, который при содействии этого демона всегда спасается на самой грани поражения. Тощая Женщина сказала Шеймасу, что день его гибели займется, когда он полюбит женщину, потому что свою судьбу он принесет в жертву ее капризу, и умоляла его во имя любви к ней беречься этого изменчивого пола. Бригид же она открыла, что роковой день для женщины настает, когда она узнает, что мужчина любит ее, ибо мужчина в любви подчиняется только женщине, и то частично, самолично и временно; женщина же, которую любят, намного полнее отдается самому богу любви, она становится рабыней и не только что лишается своей личной свободы, но тяжелое безумие это поражает даже ее мыслительные способности. Судьба работает на мужчину, и потому, утверждала Тощая Женщина, женщина должна быть победоносной, ибо тот, кто осмеливается воевать против богов, должен быть заранее уверен в победе: закон жизни таков, что только слабый победит. Предел силы – окаменение и неподвижность, у слабости же нет предела, и хитрость, или гибкость – ее советник. По этой причине, а равно и затем, чтобы жизнь не прекратилась, женщина должна стараться превратить своего мужа в женщину; тогда она станет тираном, а он будет рабом, и жизнь возобновится до следующего срока.

Тощая Женщина продолжала свой урок, пока он не стал наконец таким запутанным, что мысли ее завязались узлом, и она решила продолжить путешествие и развязать узел, когда станет прохладнее.

Они убрали хлеб обратно в свертки и тут заметили дородную, миловидную женщину, идущую к колодцу. Эта женщина, подойдя ближе, поздоровалась с Тощей Женщиной, и Тощая Женщина поздоровалась с ней, после чего незнакомка присела.

– Жарко, не правда ли, – сказала она. – Я так думаю, что иначе, чем за ради спасения чьей-нибудь жизни, и не стоит путешествовать в такой день, когда солнце этак жарит. Издалека ли вы идете, госпожа, или вы просто ходите по дорогам и вам давно уже все равно?

– Издалека, – сказала Тощая Женщина.

– Издалека ли, нет ли, – сказала незнакомка, – а я бы и вершка не прошла по своей воле в это время года. Какие у вас симпатичные детишки, госпожа.

– Симпатичные, – сказала Тощая Женщина.

– У меня-то их десять, – продолжала женщина, – и часто я недоумеваю, откуда они взялись? Забавно подумать, что женщина сделает эдак вот десяток новых существ, а ей за это не то, что не заплатят – спасибо никто не скажет.

– Забавно, – сказала Тощая Женщина.

– А вы говорите когда-нибудь больше одного слова зараз? – спросила незнакомка.

– Говорю, – сказала Тощая Женщина.

– Пенни бы дала, чтобы услышать, – сказала незнакомка в сердцах, – потому что более невоспитанной, угрюмой, сварливой бирючихи не встречала я среди женщин. Давеча как раз вот говорила тут одному, что худые женщины добрыми не бывают, а уж тощее тебя и придумать нельзя.

– Ты говоришь так потому, – ответила Тощая Женщина спокойно, – что сама толстая, и тебе приходится лгать самой себе, чтобы скрыть свое несчастье и жить дальше так, как тебе нравится. Никому в мире не нравится быть толстым, и на этом, сударыня моя, я стою. Можете тыкать пальцем себе в глаз, но в мой, уж будьте так добры, не тычьте, а потому – до свиданья; а если бы я не была женщиной мирной, я бы потаскала тебя за волосы в гору да под гору пару часов, да и дело с концом. Вот тебе и больше одного слова зараз; да смотри, как бы я не прибавила еще одно слово, от которого у тебя чирьи выскочат и не сойдут до самой смерти. Идемте, дети, и если вы когда-нибудь увидите такую женщину, как эта, то знайте, что она ест, пока может стоять, пьет, пока может сидеть, и спит, пока не одуреет; а если такая особа заговорит с вами, помните, что больше одного слова ей не положено, да и одно-то слово пусть будет коротким, потому что такая женщина уж верно была бы и изменщицей, и воровкой, да только слишком ленива, чтобы стать чем-нибудь, кроме пропойцы, Господь ей помощи! так что, до свиданья!

На этом Тощая Женщина и дети поднялись и, попрощавшись с незнакомкой, двинулись дальше по широкой тропе; другая же женщина осталась сидеть, где сидела, и не сказала ни слова даже про себя.

По пути Тощая Женщина снова впала в ярость и в этом так ушла в себя, что дети лишились ее общества; поэтому спустя немного времени они вовсе забыли о ней и вернулись к своей игре. Они бегали и прыгали, кричали, смеялись и пели. То они играли, будто они – муж и жена, и тогда они чинно шли рука об руку, делая время от времени мудрые замечания о погоде, о состоянии здоровья друг друга или о полях ржи вокруг. То один становился конем, а другой – коноводом, и тогда они топали по дороге с громким сердитым ржанием и еще более громкими и сердитыми командами. Потом один был коровой, которую с великим трудом гнал на рынок погонщик, чье терпение лопнуло уже много часов назад; или оба становились козами, бодались лбами и грозно меменялись; и все эти изменения перетекали друг в друга так легко, что дети ни на мгновение не оставались без дела.

Однако по мере того, как день клонился к вечеру, огромная тишина, окружавшая их, начала довлеть над ними. Кроме их собственных тоненьких голосков, вокруг не было слышно ни звука, и эта бесконечная, просторная тишина в конце концов заставила и их утихнуть. Мало-

помалу игры детей иссякли. Бег вприпрыжку сменился семенящим шагом, пробежки вперед стали все короче, а возвращение назад быстрее, чем убежание вперед, и вскоре дети уже шли серьезно по бокам Тощей Женщины, время от времени обмениваясь короткими фразами. Скоро и эти фразы растаяли в широкой тишине, окружавшей их. Тогда Бригид Бег ухватила за правую руку Тощей Женщины, а Шеймас чуть погодя взялся за левую, и эта немая просьба о защите и утешении снова вернула Тощую Женщину из долин гнева, по которым она бродила в столь великой ярости.

Мирно идя по дороге, они увидели лежащую на лугу корову, и, увидев животное, Тощая Женщина в задумчивости остановилась.

– Все принадлежит идущему, – сказала она, пересекла луг и подоила корову в ведро, которое у нее было с собой.

– Интересно, – сказал Шеймас, – чья это корова?

– Может быть, вообще ничья, – сказала Бригид Бег.

– Корова своя собственная, – ответила Тощая Женщина, – потому что живое не может быть чье-то. Уверена, что она отдает нам свое молоко по доброй воле и с большой охотой, потому что мы люди скромные, не жадные и без претензий.

Когда Тощая Женщина отпустила корову, та снова улеглась в траву и принялась жевать свою жвачку. Вечер делался прохладным, и Тощая Женщина с детьми пристроились к теплому животному. Они достали из своих свертков остатки хлеба и поели, с удовольствием запивая молоком из ведерка. Корова то и дело величественно поглядывала через плечо, приветствуя их на своем гостеприимном боку. У нее был мягкий, материнский взгляд, и дети очень понравились ей. Малыши быстро покончили с ужином, чтобы обнять коровью шею и поблагодарить ее за доброту, указывая друг другу на разные особенности коровьей внешности.

– Корова, – с восторгом воскликнула Бригид Бег, – я тебя люблю!

– И я тоже, – сказал Шеймас. – Видишь, какие у нее глаза!

– А зачем корове рога? – спросила Бригид.

Они задали этот вопрос корове, но та лишь улыбнулась и не ответила ничего.

– Если бы корова говорила с тобой, – спросила Бригид, – что бы она ответила?

– Давай мы станем коровы, – ответил Шеймас, – и тогда, может быть, узнаем.

И они стали коровами, и сжевали несколько стебельков травы, но обнаружили, что, будучи коровами, они не хотят говорить ничего, кроме "му-у", и решили, что коровы тоже не хотят говорить ничего, кроме этого; и детям в голову пришла любопытная мысль о том, что ничего другого говорить и не стоит.

Длинная тощая желтая муха пролетела мимо них и остановилась передохнуть на коровьем носу.

– Добро пожаловать, – сказала корова.

– Чудная ночь для путешествий, – сказала муха, – но в одиночку быстро устаешь. Ты не видела тут наших?

– Нет, – отвечала корова, – сегодня никого, только жуков, а они редко останавливаются поговорить... На мой взгляд, жизнь у тебя приятная – летай себе да радуйся.

– У всех свои заботы, – ответила муха со вздохом и принялась чистить лапкой правое крыло.

– Лежал ли у тебя кто-нибудь на боку, как эти люди лежат на моем, и крали ли у тебя молоко?

– Сколько пауков развелось! – ответила муха. – Ни уголка не осталось свободного от них; окапывают себе в траве и ловят тебя. Все глаза себе вывернула, чтобы только за ними уследить. Отвратительное, прожорливое племя, никакого благородства, никакого добрососедства; ужасные, ужасные создания.

– Я их видала, – сказала корова, – но ничего плохого от них мне не было. Подвинься-ка чуть-чуть, будь добра, я хочу облизать нос; с чего это он вдруг так зачесался?

Муха чуть-чуть подвинулась.

– Если бы ты осталась там, – продолжала корова, – я бы задела тебя языком, и, боюсь, ты вряд ли оправилась бы от этого.

– Не задел бы меня твой язык, – сказала муха. – Я, знаешь ли, очень быстрая.

Тогда корова шлепнула языком по носу. Она не увидела, как муха отскочила, но та приземлилась на ее нос невредимая в полудюйме от того места, где сидела.

– Вот видишь, – сказала муха.

– Вижу, – ответила корова и вдруг фыркнула от смеха так резко и внезапно, что муху снесло порывом ветра, и та уже не вернулась.

Это чрезвычайно развеселило корову, и она долго еще хихикала и фыркала про себя. Дети с большим интересом слушали этот разговор, и тоже восторженно засмеялись, а Тощая Женщина признала, что мухе досталось поделом; но немного спустя Тощая Женщина сказала, что та часть коровьего бока, к которой она привалилась, костлявее всего, на чем ей доводилось лежать до сих пор, и что хотя стройность и добродетель, но никто не имеет права быть костлявым в бедрах, и что в этом смысле корову похвалить нельзя. Услышав это, корова встала и, даже не взглянув на них, ушла в туман над лугом. Тощая Женщина сказала детям, что сожалеет о сказанном, но не может заставить себя извиниться перед коровой, и поэтому им пришлось продолжить путешествие, чтобы не начать мерзнуть.

В небе висел тонким мечом месяц, чье сияние оставалось с ним наверху, и нисколько не освещало грубый мир внизу; мерцание редких звездочек тоже разделяли обширные черные пустоты; на земле же темнота собиралась складками пелен туманов, поверх которых о чем-то шептали тревожно деревья и травы вторили им своими тихими голосами, а ветер жаловался о чем-то печально и взволнованно.

Путешественники шли, и глаза их, устав от темноты, отдыхали на щедрой на свет луне; но эта радость длилась недолго. Тощая Женщина стала рассказывать детям о луне, а об этом она могла говорить со знанием дела, ибо бесчисленные туманные поколения ее предков играли в холодных лунных лучах.

– Мало кто знает, – заговорила она, – что эльфы редко танцуют от радости, а больше – от грусти, что они изгнаны из прекрасного утра. Их полуночные забавы поэтому – лишь церемонии, напоминающие им об их счастливой жизни на заре мира, до того, как пытливое любопытство и самодержавная нравственность сослали их прочь от доброго лика солнца в мрачное полуночное изгнание. Занятно, что никто не может сердиться, глядя на луну. Собственно, ника-

кая страсть и никакое желание не смеют овладевать нами в присутствии Сияющей. И это в той или иной степени верно для любого воплощения красоты; ибо в совершенной красоте есть нечто, что гонит прочь низкие желания и в то же время растворяет дух в экстазе страха и печали. Красота не имеет стремления к Мысли; она наслет ужас и тоску на того, кто взглянет на нее глазами разума. Мы не можем ни сердиться, ни веселиться в присутствии луны, и не смеем думать в округе, подвластной ей, не то Ревнивая непременно поразит нас. Я думаю, она вовсе не благосклонна, а злонравна, и нежность ее скрывает множество застенчивых подлостей. Мне думается, что красота, становясь совершенной, делается пугающей, и что, если взглянуть на дело с пониманием, предел красоты есть отчаянное безобразие, и что имя высшей, совершенной красоты – Безумие. Поэтому мужчина ищет не красоты, а скорее миловидности, чтобы рядом с ним всегда был друг, который пойдет за ним, будет понимать его и утешать его, ибо таков удел миловидности: но удел красоты – никто не знает, в чем он. Красота – предел, который еще не достигнут и не смешан со своей противоположностью. Поэты пели об этой красоте, и философы прорицали о ней, думая, что красота, превосходящая всякое понимание, есть также покой, превосходящий понимание; я же думаю, что все, что превосходит понимание, то есть, воображение – ужасно, оно бесконечно далеко от человечности и от доброты, и оно – грех против Святого Духа, великого Художника. Отдельно взятое совершенство – символ ужаса и гордыни, и за ним следует лишь ум человека, а сердце бежит от него в страхе и льнет к миловидности, которая есть умеренность и праведность. Любой предел плох, и он должен разрешиться и оплодотворить свою равно ужасную противоположность.

Так, разговаривая больше сама с собой, чем с детьми, Тощая Женщина шла по дороге. Пока она говорила, луна стала ярче, и по обеим сторонам дороги, где только высилось дерево или холмик, на земле корчилась черная тень, будто готовая вдруг ожить. Дети так боялись этих теней, что Тощая Женщина сошла с дороги и свернула напрямик в холмы, так что в короткое время дорога осталась позади, а вокруг них простирались тихие склоны, освещенные полным светом луны.

Так они шли долго, и дети начали засыпать; они не привыкли не спать ночью, а поскольку вокруг не было места, где они могли бы отдохнуть, и было ясно, что далеко они не пройдут, Тощая Женщина начала беспокоиться. Бригид уже издавала тоненький жалобный писк, и Шеймас вторил ей вздохами, которые, став хоть чуточку длиннее, превратились бы во всхлипы; а когда дети начинают плакать, они не знают, как от этого избавиться, пока это им само не надоест.

Выбравшись на невысокий холм, внизу чуть поодаль они увидели свет, и Тощая Женщина поспешила к нему. Подойдя поближе, она разглядела небольшой костерок и сидящих вокруг него людей. Через несколько минут она вышла в круг света от костра – и внезапно замерла. Она повернулась бы и убежала, но от страха ноги перестали ее слушаться; а те, что сидели у костра, разглядели ее, и громкий страшный голос велел ей подойти поближе.

В костре горели кустики вереска, а возле него сидели трое. Тощая Женщина, скрывая, как могла, свою тревогу, подошла и присела у огня. Тихо поздоровавшись, она раздала детям по кусочку своего хлеба, прижала их к себе, завернула в свою шаль и пожелала им спокойной ночи. Потом, ежась, она оглядела хозяев костра.

Они были почти голые, и каждый смотрел на нее, не сводя глаз. Первый был так красив, что на него было невозможно смотреть, как на что-нибудь очень яркое. Он был очень крепкого сложения, но в то же время такой ладный, такой стройный и грациозный, что с его ростом не вязались понятия тяжести и веса. Лицо у него было царственное, молодое и пугающе светлое. Второй был такого же роста, но на диво широк в плечах, так широк, что это принижало его

огромный рост. Напряженная рука, на которую он опирался, вся в узлах вздувшихся мышц, глубоко вошла в землю. Лицо его было словно вырублено из дикого камня – массивное грубое лицо, такое же напряженное, как его рука. Третий же сидевший у костра едва поддавался описанию. Он не был ни низок, ни высок. Мускулист он был так же, как второй. Сидя, уткнувшись в колени подбородком и обхватив их руками, он походил на гигантскую лягушку. У него не было ни вида, ни фигуры, и сплюснутая голова его едва ли была шире шеи. Выступающие собачьи челюсти его постоянно двигались, а в маленьких глазках светился жуткий разум. Душа Тощей Женщины затрепетала перед этим человеком. Она почувствовала, что ее тянет к нему. Последняя ужаснейшая низость, на которую способен человек, овладела ею: восхищение, которое могло заставить ее броситься к нему с воплем восторга. Она не могла отвести от него глаз; но руки ее обнимали детей, и любовь, величайшая из сил, яростно возгорелась в ее сердце.

Первый человек заговорил с ней:

– Женщина, – спросил он, – по какой надобности ты идешь этой ночью и зачем забралась на этот холм?

– Сэр, – отвечала Тощая Женщина, – я ищу бруг Ангуса сына Дагды Мора²².

– Все мы дети Великого Отца, – сказал человек. – Ты знаешь, кто мы?

– Этого я не знаю, – ответила женщина.

– Мы – Три Абсолюта, Три Спасителя, Три Реторты – Прекраснейший, Сильнейший и Безобразнейший. Посреди всякой битвы мы проходим неуязвимыми. Мы считаем павших и победителей и проходим мимо, смеясь, и к нам вечным строем приходят все народы мира, чтобы возродиться вовеки веков. Зачем ты позвала нас?

– Я вовсе не звала вас, – сказала Тощая Женщина, – но зачем вы сидите на тропе, что все идущие к Дому Дагды задерживаются на пути?

– Для нас нет закрытых троп, – ответил тот, – сами боги ищут нас, потому что устают от своего великолепного одиночества – кроме Того, Кто живет во всем, и в нас тоже; Ему мы служим и перед Ним мы сами склоняемся в прах. Ты, о Женщина, идущая по долинам гнева, позвала нас в своем сердце, и поэтому мы ждем тебя на склоне холма. Теперь выбирай одного из нас себе в супруги, и не бойся прогадать, потому что наши царства равны и наша власть равна.

– Зачем же мне выбирать одного из вас, – возразила Тощая Женщина, – когда я давно уже замужем за самым лучшим человеком в мире?

– Лучше нас нет, – отвечал тот, – ибо мы первые в красоте, первые в силе и первые в безобразии; нет такого совершенства, которого не было бы в нас троих. Если ты и замужем – что это значит для нас, свободных от мелочных чувств ревности и страха, для нас, единых с собой и с любым проявлением природы?

– Если вы – Абсолюты, – возразила женщина, – и превыше всего мелочного, то почему бы вам не стать превыше и меня также и не пропустить меня с миром к Дагде?

– Мы – то, чего желают все люди, – проговорил тот, – и мы желаем всех людей. Ничего, ни малого, ни большого, не презирают наши бессмертные желания. Незаконно даже Абсолюту переступать Желание, которое есть дыхание Бога на его создания, и никакое совершенство не

22 *Дагда Мор (Великий) – один из главных богов в ирландской мифологии, бог земли, владелец котла изобилия, король племен богини Дану, отец Ангуса и других богов.*

вправе ограничивать или превосходить его.

Во время их разговора двое других придвинулись, внимательно слушая, но ничего не говоря. Тощая Женщина чувствовала, как дети, словно маленькие напуганные птички, тесно прижались к ее бокам и сидели тихо-тихо.

– Сэр, – сказала она, – расскажите мне, что есть Красота, что есть Сила и что есть Безобразие? потому что хоть я и вижу это все, я не знаю, что это такое.

– Я расскажу тебе, – ответил тот. – Красота есть Мысль, Сила есть Любовь, а Безобразие есть Порождение. Дом Красоты – в уме человека. Дом Силы – в сердце человека, а в лоне правит своим ужасным государством Безобразие. Если ты пойдешь со мною, то познаешь все восторги. Ты будешь жить невредимой в пламени духа, и ничто грубое не сможет связать твои члены или сковать твою мысль. Ты будешь проходить между бушующих страстей, как королева, без мучения, без отчаяния. Никогда тебя не охватят безумие или стыд, но всегда ты будешь выбирать свой собственный путь и гулять со мной в довольстве, свободе и красоте.

– Всё, – ответила Тощая Женщина, – должно поступать в соответствии с законом своего существа, и вот что я скажу Мысли: если ты будешь удерживать меня против моей воли, я ослеплю тебя против твоей воли, ибо удерживающий своего супруга против воли становится стражником и рабом своего пленника.

– Это верно, – сказал тот, – а с тем, что верно, я не могу состязаться; потому ты свободна от меня; но от моих собратьев не свободна.

Тощая Женщина повернулась ко второму человеку.

– Ты – Сила? – спросила она.

– Я Сила и Любовь, – прогремел он, – и со мной – спокойствие и мир; дни мои полны славы, а ночи – тишиной. Вблизи моих земель не рыскает никакое зло, и не слышно ничего, кроме мычания моих стад, пения моих птиц и смеха моих счастливых детей. Иди же ко мне, дающему защиту, счастье и мир, не сдающемуся и не устающему никогда!

– Я не пойду с тобой, – сказала Тощая Женщина, – ибо я – мать, и силу мою не увеличить; я мать, и к моей любви не прибавить. Чего мне еще желать от тебя, великан?

– Ты свободна от меня, – сказал второй, – но от моего брата ты не свободна.

И в страхе Тощая Женщина обратилась к третьему великану, потому что к этому безобразному созданию что-то внутри нее тянулось в экстазе отвращения. Он отталкивал ее с такой силой, что это переходило уже в притяжение. Один дрожащий шаг, и женщина пропала бы, но руки детей удержали ее, когда она почти уже простерлась горестно перед ним.

Он заговорил, и голос его был вязким и мучительным, словно бы исходил из перепутанных жил самой земли.

– Тебе не к кому больше идти, кроме меня. Не бойся, приди ко мне, и я верну тебе те дикие восторги, которые ты давно позабыла. Все отчаянное и мятежное, все плотское и беспредельное принадлежит мне. Ты не будешь больше думать и страдать; но обретешь такую уверенность, что само солнечное тепло станет для тебя счастьем; вкус еды, ветер, веющий на тебя, зрелая легкость твоего тела – ты изумишься, вспомнив все это. Мои объятия сделают тебя снова молодой и яростной; ты запрыгаешь по склону холма, как козочка, и запоешь от радости, как поют птицы. Оставь свое брюзгливое человечество, которое цепями и заборами отгородилось от радости, и идем со мной! К моему древнему спокойствию в конце концов при-

дут, как дети, уставшие ввечеру, и Сила, и Красота; они вернутся к свободе скотов и птиц, которым для удовольствия достаточно своего собственного тела, и которым нет дела до Мысли и глупого любомудрия.

Но Тошя Женщина отпрянула от его руки, сказав:

— Есть такой закон — не поворачивать назад, когда путешествие уже начато, а идти вперед к тому, что назначено; и нельзя нам вернуться в твои луга, леса и солнечные поляны, однажды покинув их. Никакие радости плоти не облегчат мучения духа, пока не рассеется дым, что ослепляет нас, и жгучее пламя не уготовит нас к бессмертному блаженству, которое есть лоно Господа. И нет такого закона, чтобы вы, великие, не давали прохода путешественникам, совлекая их с пути лукавыми обещаниями! Вы можете сидеть только на перекрестках, где путник задумывается и бывает в сомнениях, но на дороге силы у вас нет.

— Ты свободна от меня, — сказал третий человек, — пока не будешь готова придти ко мне вновь, потому что из всего только я стоек и терпелив, и всё возвращается ко мне в свой срок. Есть свет в моих укромных местах в лесу и светильники в моих садах под холмами, за которыми ухаживают ангелы Божьи, и под моим лицом есть другое лицо, которым не брезгают Пресветлые.

И три Абсолюта поднялись и мощно зашагали прочь; они шли, и их громогласный разговор эхом отражался от облаков и от земли, словно порывы ветра; и даже когда они скрылись, вдали был слышен могучий рокот, постепенно умолкнувший на залитых лунным светом просторах.

Тошя Женщина и ее дети медленно шли по неровной, кочковатой земле. Вдалеке, у самой вершины горы, замерцал свет.

— Вон там, — сказала Тошя Женщина, — стоит бруг Ангуса Мак ан Óга, сына Дагды Мора, — и к этому свету она повела усталых детей.

Спустя немного времени она предстала перед богом, и тот приветил ее и освежил с дороги. Она рассказала ему всё, что случилось с ее мужем, и попросила у Ангуса помощи, и Ангус охотно согласился, ибо главное дело богов — давать защиту и помощь тем людям, которые в них нуждаются; однако — таково их ограничение — боги ничем не могут помочь, пока их об этом не попросят, поскольку свободная воля человека есть самый ревностно охраняемый и священный принцип в жизни; и поэтому вмешательство любящих богов происходит только в ответ на столь же полюбовный призыв.

Глава XVIII. Счастливый Поход

Кейтилин Ни Мурраху одиноко сидела в бруге Ангуса, почти так же, как сживала она на склоне холма и в пещере Пана, и снова думала. Теперь она была счастлива. Ей было нечего более желать, ибо всё, что есть на земле, всё, что может охватить ум, принадлежало ей. Мысли ее уже не были теми скрытными подземными существами, что бежали от рук и от понимания. Каждая мысль была чем-то или кем-то, в чьем свете можно было видеть жизнь этой мысли, наблюдать и ощущать ее, принимать ее или не принимать — смотря по тому, что следовало с ней сделать.

Но Кейтилин открыла, что счастье — это не веселье и не удовольствие, и что никто не может быть счастлив один, сам по себе. Так она начала понимать глубочайшую печаль богов и узнала, почему Ангус плачет тайком от всех — ибо по ночам она часто слышала, как он плачет. Она узнала, что его слезы — о тех других, которые несчастны, и что он нет ему утешения, пока

кто-то горюет, или пока в мире скрывается злодеяние. Это чужое горе отравляло и ее собственное счастье, и она поняла, что ничто теперь не чуждо ей, и что всё и вся – ее братья и сестры, и что все они живут и умирают в юдоли; и наконец она узнала, что нет каких-то людей, а есть просто люди, и нет человека – но лишь человечество. Никогда отныне удовлетворение желания не доставляло ей удовольствия, ибо ее чувство единственности пропало – она была не просто личностью, но также и частью могучего организма, устроенного так, что в любых неурядицах и потрясениях он стремится достичь в себе единства; и это великое существо троиственно, объединяя в своем могучем бытии Бога, Человека и Природу – бессмертную троицу. Долг жизни в том, чтобы пожертвовать собой: отвергнуть малое “я”, чтобы высвободилось великое “Я”; и, узнав это, Кейтилин наконец поняла, что знает Счастье, эту божественную неудовлетворенность, которая не успокоится, пока не достигнет своего предела, и пока знание мужа не добавится к веселию ребенка. Ангус научил ее, что за этим пределом лежит великий восторг, который есть Любовь и Бог и начало и конец всех вещей; ибо всякая вещь должна приходить от Воли к Неволе, чтобы снова вернуться к Воле с пониманием всего сущего, приготовленная к этому огненному ликованию. Этого не случится, покуда живут среди людей глупцы, ибо пока последний глупец не умудрится, шаги мудрости будут неверными, а свобода останется незримой. Растут не годами, а умножаясь, и пока не откроется всеобщий глаз, никто не сможет увидеть Бога, ибо и взгляду всей природы едва хватит широты, чтобы узреть такое величие. Счастье мы встретим во множествах, но Его мы можем привечать лишь звездными системами и вселенской любовью.

Так размышляла она, когда из полей к ней пришел Ангус Óг. Бог всю сверкал, улыбаясь, как юная заря, когда пробуждаются бутоны, и с уст его вместо речи лилась песня.

– Любимая моя, – сказал он, – сегодня мы отправимся в путешествие.

– Моя радость там, где ты. – ответила Кейтилин.

– Мы сойдем в мир людей: из нашей мирной обители на холмах – в шумный город, к толпам народа. Это будет наше первое путешествие, но в скором времени мы отправимся к ним снова, и из того путешествия мы не возвратимся, ибо станем жить среди людей и пребудем в покое.

– Да придет скорее тот день, – отозвалась Кейтилин.

– Когда твой сын станет мужчиной, он отправится в это путешествие прежде нас, – сказал Ангус, и Кейтилин вздрогнула от радости, узнав, что у нее родится сын.

Затем Ангус Óг надел свои сверкающие одежды, и они вместе вышли на солнечный свет. Стояло раннее утро, солнце только что взошло, и на травах и вересках сверкали росинки. В воздухе стояла свежесть пробуждения, от которой радость вскипала в крови, и Кейтилин затанцевала от безудержного веселья, и Ангус веселым голосом воспел к небу и тоже пустился в танец. Вокруг его сияющей головы порхали птицы; ибо каждый поцелуй, который он дарил Кейтилин, превращался в птицу, посланника любви и мудрости, и птицы запевали торжествующую песнь, и тишина зазвенела от их пения. То и дело какая-нибудь птица со всех крыльев вылетала из круга, устремляясь в какую-либо сторону. Это были его гонцы в каждую крепость и дún, каждый рат и глен, каждую долину Эйрэ, поднимавшие Слуайге Ши, Эльфийское Воинство. Это летели птицы любви, ибо готовилась битва счастья, и потому Ши не брали с собой оружие.

Счастливый путь Ангуса и Кейтилин лежал на Килмашеог, и скоро они пришли к горам.

После бога Тоцая Женщина с Инис-Маграта обошла все эльфийские крепости Килма-

шеога и велела Ши, жившим там, на рассвете ждать на вершине горы; поэтому, когда Ангус и Кейтилин взойшли на гору, там их встретили шесть кланнов, и с ними были многие из народа младших Ши, члены Туата да Данаан²³, высокие и прекрасные мужчины и женщины, сошедшие в безмолвные подземелья, когда напор сыновей Милита²⁴, их вкрадчивые чары и неодолимая доблесть вытеснили их в страну богов.

Среди явившихся были Айне Ни Эогáйл из Кнок-Айне и Ивиль из Краг-ли, королевы Северного и Южного Мюнстера, а также Уна, королева Ормонда; они со своими воинствами пели на вершине горы, приветствуя бога. Пришли туда пять стражей Ульстера, подстрекатели к поединкам – Бриер Ма Бельган из Дромона-Брег, Редг Ротбилл со склонов Маг-Итар, Тиннель сын Боклахтны из Слив-Эдликон, Грики из Круахан-Айгле, доброго имени, и Гульбен Глас Мак Грики, чей дún стоит в Бене Гульбена. Эти пятеро, неодолимые в поединках, поднялись на гору каждый со своим племенем, выкликая на ходу боевые кличи. С севера и с юга они пришли, и с востока, и с запада, блистательные и счастливые создания, многочисленные, без страха и без сомнения, и скоро вся гора украсилась их веселыми голосами и благородными одежаниями.

С ними пришел народ Лупры, древние лепреканы мира, прыгая, словно козлята, под ногами героев. Их возглавляли король Удán Мак Аудайн и Бег Мак Бег, его танист, а за ними шел Гломхар О'Гломрах морской, главный силач их народа, одетый в шкуру ласки; были там также вожди его кланна, прославленный в древности Конán Мак Рихид, Гаэрку Мак Гайрид, Метер Мак Минтán и Эсирт Мак Бег, сын Буэйена, рожденный на победу. Это был тот самый король Удán, которого заковали в цепи, чтобы накормить кашей из великого котла Эмании; он упал в этот котел, и собственная жена взяла его в плен, в котором держала пять долгих лет, пока он не отдал все, что ценил в мире больше всего, вплоть до собственных башмаков; жители холмов до сих пор посмеиваются над этой историей, а лепрекана до сих пор можно смертельно ею обидеть.

Пришли туда Бов Дерг Яростный, которого видели редко, и его арфист сын Трогáйна, чья музыка исцеляет больных и веселит опечаленные сердца; Эохи Мак Элатán, Дагда Мór, Отец Звезд, и его дочь из Пещеры Круахана; Кред Мак Аэд из Рагхери и Кас Корах, сын великого Оллава; Мананаан Мак Лир вышел из своих просторных вод, перекрывая криком ветер, с дочерьми Клиной, Айфе и Этáйн Светловолосой; и Колл и Кехт и Мак Грейна – Плуг, Орешник и Солнце, пришли со своими женами, чьи имена также не забыты – то были Банба, Фодла и Эйре, славные имена. Луг Долгорукий, полный таинственной мудрости, не пренебрег сбором; жестоко отомстили за его отца сыновьям Туанна; все со своими воинствами.

И пришла та, кого все войска приветствовали мощным кличем любви, сама Скорбящая, Дана, Мать богов, незыблемая вовеки веков. Дыхание ее – в утре, улыбка ее – лето. С ее руки птицы небесные получают пищу. Смирный бык – ее друг, и волк влюбленно бежит с нею рядом; по ее слову маргаритка выглядывает из своей пещеры и крапива прячет свое копье. Роза украшается в невинности, распространяя вокруг с росой свою сладость, и дуб улыбается ей в небесах. О прекрасная! ягнята идут по твоим следам, они пасутся от твоих щедрот в лугах, и никто не гонит их; усталые люди вечно льнут к твоему лону. Через тебя все дела и поступки

23 Ирл. “Племя богини Дану”, одно из сменяющих друг друга поколений, последовательно населявших Ирландию. Последующее поколение вытеснило их под землю, в полые холмы; племена богини Дану стали сидами.

Большинство персонажей, упомянутых далее, не встречается за пределами этой книги.

24 Сыновья Миля или Милезии – другое поколение насельников Ирландии.

людей, через тебя все голоса доходят до нас, и само Божественное Обетование и далекое дыхание Всемогущего, исполненное добра.

С изумлением, с восхищением дочь Мурраху смотрела на воинство Ши. В глазах у нее непрестанно рябило от самоцветных камней налобников, блиставших на солнце, и наплечных спиралей чистого золота, сверкавших, словно огонь. На светлых волосах и на темных отсвечивало солнце; белые руки взметались и вспыхивали на миг, исчезая и появляясь снова. Глаза тех, кто не гадал и не выгадывает, встречались с ее глазами, не подбадривая, не спрашивая ни о чем, но глядя ласково и бесстрашно. Голоса вольного народа звенели в ее ушах, и смех счастливых сердец, не думающих о грехе и о стыде, свободных от тяжких оков самости. Ибо этот народ, хотя и многочисленный, был единым. Каждый говорил с другим, как с самим собой, без оговорок и уверток. Каждый из них двигался по своей воле, но все вместе двигались они, как единое существо; ибо когда они кличем приветствовали Мать богов, они восклицали одним голосом и кланялись ей, как один человек. Во множестве умов здесь обитал один ум, направляющий, повелевающий, так что все взаимозаменяемое и текучее делалось сплоченным и целостным в единовременном понимании, единым действием, которое было – свобода.

Пока она глядела, танец прекратился, и все согласно повернулись к склону горы. Те, что были впереди, бросились вниз, и те, что за ними, тоже побежали сообразно порядку.

Тогда Ангус Óг в танце подлетел к ней, своей прекрасной невесте:

– Пойдем, любимая моя, – сказал он, и рука об руку они побежали со всеми, смеясь на бегу.

Здесь не росло ни травинки; ковер бурого дерна простирался, насколько хватало глаз, по склону и дальше, туда, где еще одна гора высилась в небо. К нему все подошли и по нему спустились. Поодаль виднелись купы деревьев, и, совсем вдалеке, крыши, башни и шпили Города Брода Плетней и тропинки, блуждающие там и сям; но наверху лишь колючий дрок рос в тишине на солнце, громко гудела пчела, время от времени проносились птицы, и маленькие ручейки наливались сбегающей водой. Чуть дальше кусты уже были зелены и прекрасны, тихо покачивая зеленой листвой, а за ними снова глядели на мир деревья, окутанные покоем и солнечным сиянием, деревья, которым было не о чем пожаловаться.

В скором времени они добрались до травы, и начался танец. Рука потянулась к руке, ноги задвигались дружно, словно давно любили друг друга; спокойно, умело они пошли, не запинаясь, а потом понеслась громкая песня – они пели ко всем, кто любит веселие и мир, но обманом лишился их так давно:

– Придите к нам, вы, не знающие, где вы есть – вы, живущие среди чужих в домах уныния и самооправдания. Бедные, несчастные! Как изумлены вы, как дьявольски обмануты! В изумлении вы глядите и не понимаете, что взгляд ваш устремлен на звезду, а ноги идут по благословенным королевствам Ши. Невинные! в какую тюрьму вы брошены! Перед какой низостью склоняетесь! Как зажаты между законами и обычаями! Черный народ Фоморов²⁵ держит вас в рабстве, и на ваших душах они застегнули свинцовый ошейник, сердца ваши обвешаны железом, а на бедрах опояски чеканной горестной меди! Поверьте, что солнце светит, цветы цветут и птицы поют прелестно в ветвях деревьев. Вольные ветры дуют повсюду, вода журчит в долинах, громко кличет орёл на просторе, и его подруга спешит к нему. Пчелы собирают мед на солнце, мошकारа танцует роем, и бык-великан мычит за рекой. Ворона молвит

25 В ирландской мифологии фоморы – сверхъестественные существа, живущие за или под морем, наделенные нечеловеческой силой и злостью, враги Племен богини Дану, побежденные ими, но не до конца.

слово своей братии, и куропатка прячет птенцов под плетень... Приди к нам, любящий жизнь и счастье. Протяни руку – брат возьмет тебя за руку издалека. Оставь хоть на время плуг и тачку; отложи иглу и шило – Разве кожа брат тебе, о человек?.. Выходите! выходите! из-за станков и столов, из лавки, где развешаны трупы, из мест, где продается одежда, и из мест, где ее шьют во мраке; О, гнусное предательство! Ради радости ли сидишь ты в притоне маклеров, о бледнолицый человек? Или твой стряпчий околдовал тебя?.. Выходите! ибо начался привольный танец, ветер гудит над холмами, солнце льет свой смех в долину, и море набегает на гальку, играя от радости, танцуя, танцуя, танцуя от радости...

Они рассыпались по козым тропкам, маленьким боринам и извивающимся дорогам. В город спустились они, танцуя и распевая; по улицам и лавкам пронеслись они, рассказывая свою солнечную сказку; не обращая внимания на злобные взгляды и поднятые брови сыновей Балора, когда те отводили глаза. И они освободили Философа из его тюрьмы, и сам Разум Человеческий они высвободили из рук врачей и законников, от хитрых жрецов, от профессоров, чьи рты набиты пылью, и купцов, продающих лезвия травы – от страшного народа Фоморов... и вернулись обратно, танцуя и распевая, в страну богов.